

Александр Матюхин Софья Ролдугина

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν

Зеркало (Рипол)

Александр Матюхин

Зеркальный лабиринт

«РИПОЛ Классик»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Матюхин А. А.

Зеркальный лабиринт / А. А. Матюхин — «РИПОЛ Классик»,
2017 — (Зеркало (Рипол))

ISBN 978-5-386-10344-6

В этой книге каждый рассказ – шаг в глубь лабиринта. Тринадцать пар историй, написанных мужчиной и женщиной, тринадцать чувств, отражённых в зеркалах сквозь призму человеческого начала. Древние верили, что чувство может воплощаться в образе божества или чудовища. Быть может, ваш страх выпустит на волю Медузу Горгону, а любовь возродит Психею! В лабиринте этой книги жадность убивает детей, а милосердие может остановить эпидемию; вдохновение заставляет летать, даже когда крылья найдены на свалке, а страх может стать зерном, из которого прорастёт новая жизнь... Среди отражений чувств можно плутать вечно – или отыскать выход в два счета. Правил нет. Будьте осторожны, заходя в зеркальный лабиринт, – есть вероятность, что вы вовсе не сумеете из него выбраться.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-10344-6

© Матюхин А. А., 2017
© РИПОЛ Классик, 2017

Содержание

1		7
	♂ Виноватые	8
	♀ Запретное слово Чёрного дома	15
2		21
	♂ Изоляция	22
	♀ Дрессировка	27
3		31
	♂ Искушение	32
	1	32
	2	37
	3	42
	♀ Нелюбовь	48
	1	48
	2	50
	3	51
	4	53
4		55
	♂ Престиж	56
	♀ Золотая лопата Большого Че	60
5		65
	♂ Идеальный мир профессора Рихтера	66
	Конец ознакомительного фрагмента.	69

Александр Матюхин, Софья Ролдугина

Зеркальный лабиринт

© Матюхин А., текст, 2017

© Ролдугина С., текст, 2017

© Щербинина А., иллюстрации, 2017

© Дубовик А., художественное оформление, 2017

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

* * *

Не страшно, что ты в нас не верил. Мы в тебя верили.
Нил Гейман. «Американские боги»

Чувства, которые мы испытываем, не преобразяют нас, но подсказывают нам мысль о преображении.
Альбер Камю

Ночью у кромки древнего леса горел костёр; языки пламени трепетали, и тени беспорядочно метались вокруг, словно чудовищные спутники Гекаты.

У огня сидели двое странников: мужчина пришёл с запада, женщина – с востока. Их одежда была поношенной, сапоги – стоптанными, а глаза напоминали тёмные зеркала. Странники долго молчали; первой заговорила женщина.

– До рассвета ещё далеко, – вздохнула она. – Скучно ждать в молчании, да и неловко... Расскажи, странник, что ты видел в далёких краях? Наверняка тебе есть о чём рассказать.

Мужчина приосанился – слова женщины польстили ему.

– Не скрою, я видел много удивительного, – сказал он. – Однажды мне довелось повстречать человека, гонимого Алектю, и я узнал, какой беспощадной может быть вина.

– Говорят, что вина – и есть второе имя Алектю, – откликнулась женщина. – А я как-то раз увидела издали Медузу Горгону. Взгляд её и вправду наводит ужас! Хорошо, что она смотрела в другую сторону, иначе быть бы мне камнем. Кажется, ничего страшнее и нет.

– Как бы не так. Взгляд Медузы губит одного, а на поле битвы гибнут сотни, – возразил мужчина. – Я видел много войн. И всегда поблизости бродила Эрида, богиня раздоров, порождающая зависть даже между богами, и хохотала.

– В море тоже нет покоя – жадная Сцилла несёт смерть кораблям, – согласилась женщина. И вдруг улыбнулась: – Много на свете бед, но и добра много. Я видела, как гонимые беглецы просили о сострадании у алтаря Элеос – и получали защиту.

Лицо у мужчины посветлело; видно, он вспомнил о чём-то хорошем.

– Мне как-то довелось повстречать художника, вокруг которого плясали Музы, и учёного, в котором загли они пламя вдохновения. Прекрасное было зрелище!

– А Элпиды, Надежда? Говорят, она всё-таки выбралась из ларца Пандоры, пусть и позже других... И слышал ли ты о Психее?

Мужчина и женщина проговорили всю ночь. Они рассказали друг другу множество историй – об ужасах, встреченных на пути, и о прекрасных чудесах. Слова были точно искры, из которых к рассвету разгорелось пламя нового чувства.

Они решили, что хотят увидеть следующий рассвет вместе, и отныне их путь лежал в одном направлении.

♂ – Александр Матюхин

♀ – **Софья Ролдугина**

1

Вина: Алектó



Алектó неутомимо преследует преступников и днём, и ночью, не давая им ни минуты покоя.

Виноватые

Листовки еще висели на каждом столбе и дереве города, но тело уже было найдено, похороны назначены.

С листовок, распечатанных на черно-белом принтере, смотрело улыбающееся личико двенадцатилетней Иры – передних зубов не хватает, короткие волосы растрепаны, ямочки на щеках и узкие щелочки глаз – а под фото текст: «ПРОПАЛ РЕБЕНОК! Пожалуйста, всем, кто видел эту девочку, просьба позвонить по телефону... Одета в... Особы приметы... Вышла из дома и не...»

Листовки были ненужным элементом, шелухой, потому что девочку отвезли в морг, произвели вскрытие, отмыли, одели и вывезли с заднего входа морга на автомобиле сразу на кладбище.

Лёвкин сидел в кабине, слева от хмурого молчаливого водителя, который непрерывно курил, одну за одной, и сплевывал в окно сквозь щербатые зубы. Один раз, перед въездом в кладбище, когда грузовик подпрыгнул на кочке, водитель матернулся и процедил:

– Ну, неправильно это. Не должны родители, того самого, хоронить детей. Каждый день что-то такое происходит. Тошнит...

Лёвкин кивнул, потому что сказать ничего не мог. Слова застревали в горле.

На похоронах собралось человек двадцать. Несколько бабушек выли в голос. Гроб казался каким-то совсем уж маленьким, будто игрушечным. В какой-то момент Маша пошатнулась, цепко подхватила Лёвкина под локоть, дыхла валерьянкой, запричитала:

– Господи, господи...

Помимо валерьянки, она наглоталась еще таблеток, поэтому вряд ли соображала, что происходит. Под ногтями у Маши была грязь – с утра она возилась с цветами во дворе... не только с утра, а последние несколько дней, с того момента, как пропала Ира. Каждую свободную минуту.

Гроб опустили в яму, и несколько работяг в десять минут забросали яму землей с холмиком. Сверху положили венки, воткнули деревянный крест с фотографией в центре. Бабки продолжали ныть, а Лёвкин смотрел то на этот холм черной свежей земли, то на серое небо без туч. Кольнула беглая мысль, что все происходящее – неправда. Помутнение рассудка, страшная сказка, придуманная непонятно кем и непонятно для чего.

В кармане завибрировал телефон. Какой-то неизвестный номер.

– Да? – хмуро спросил Лёвкин, сквозь вязкость грустных мыслей соображая, что вряд ли кто ему вообще мог позвонить сегодня, в такой момент, в этот ужасный вечер.

– Я, это, по номеру звоню, – сказал в трубке мужской голос. – Я её видел.

– Кого?

– Ну. Девочку вашу. Вы же на листовках написали, мол, кто видел – отзовитесь. Ну, вот. В груди у Лёвкина что-то звонко лопнуло.

– Опоздали, – сказал он дрогнувшим голосом. – Похороны у нас.

В трубке тяжело засопели, а потом спросили:

– Как же это? Я же полчаса назад видел. Как живую. Ямочки эти, глазенки, прическа...

Лёвкин не дослушал, нажал на сброс и так крепко сжал телефон, что почувствовал, как скрипит тонкий пластик.

Маша смотрела на крест... сквозь крест... ей бы следовало отоспаться и прийти в себя; взгляд мутный и ничего не соображающий. Лёвкин повел жену по узкой грязной тропинке, мимо других могил, к выходу. Следом потянулась безымянная вереница сопровождающих.

Когда Лёвкин усадил Машу в такси, забрался сам и назвал адрес (хотя городок был таким маленьким, что, кажется, таксисты знали каждого пассажира в лицо), телефон зазвонил снова.

– Слушаю, – буркнул Лёвкин, на этот раз раздраженно.

– Я по поводу девочки, – затараторили в трубку, но уже другой голос, женский. – Слушайте, вам надо подъехать. Буквально час назад видела её в парке, ну, который возле кинотеатра. Где Церквушка, знаете? Может, она где-то там прячется. Может, убежала просто? Вы, главное, не волнуйтесь. Надо поискать. Только листовок мало. Надо еще по телевизору пустить, на местном нашем, и чтобы в интернете кто-нибудь написал...

– Послушайте, – перебил Лёвкин. – Послушайте, мать вашу. Какая девочка? Я её только что похоронил! Мертва она. Нет больше никакой девочки.

– А как же листовки? – спросили в трубке. – Не бывает такого. Пока ищут – есть надежда. Вы не отчаиваетесь, ладно? Отчаиваться ни в коем случае нельзя!..

Маша уснула, тяжело уронив голову ему на плечо. Лёвкин сбросил, а затем вовсе отключил телефон. Он никак не мог разобраться, что творится в душе. За окном мелькали серые многоэтажки старого района, столбы, деревья, парки, газоны, киоски, магазины, люди. Среди всего этого Лёвкин видел листовки с фотографией его дочери. Ямочки на щеках, все дела.

Доехали быстро. Лёвкин растолкал жену, повел ее, полусонную, через двор к дому. В коридоре разул, снял верхнее, уложил на диванчике в крохотной летней кухне. Маша что-то бормотала, царапала ногтями кожу на запястьях, и, наконец, уснула.

Вечер подступал незаметно, небо чернело и расцветало звездами. Лёвкин убрался в комнатах, приготовил ужин, сделал множество мелких, ненужных и необязательных дел, лишь бы не сидеть в тишине в доме. Когда стемнело окончательно, вышел на крыльцо и, облокотившись о перила, нервно выкурил сигарету.

В мутном свете фонаря было видно, что с обратной стороны забора кто-то подошел. Лёвкин подумал, что ведь никого тут толком не знает, на юге города, где многоэтажек днем с огнем не сыщешь, зато дома разной степени ухоженности расползлись на много километров вокруг. Даже соседей Лёвкин никогда не встречал или не обращал на них внимания.

В ворота постучали. Лёвкин подошел, на ходу закуривая вновь, открыл калитку, обнаружил за ней полноватую женщину лет сорока, в халате и в тапках. Женщина держала в руках сорванную листовку.

– Это ведь ваша дочь, да? – спросила женщина неприятным, каким-то хриплым голосом.

– Допустим.

– А вознаграждение положено?

– Какое вознаграждение? Вы о чем? – закипая, произнес Лёвкин. – С ума все сошли, что ли? Где вы были три дня назад, когда она пропала? Куда вы все глядели?

Женщина неожиданно ловко схватила его за ладонь. Рука у нее была влажная и холодная.

– Послушайте, я правда ее видела, – сказала она. – Тут недалеко. Три квартала по прямой. Где озеро с утками, знаете? Вам разве не интересно?

Лёвкин вздохнул и сказал:

– Она умерла. Её нашли вчера. А сегодня похоронили.

– Час назад. Кормила уток хлебушком, – серьезно сказала женщина. – Вознаграждение будет?

– Какое, к черту... – он попытался вырваться, но женщина держала крепко. Трепыхнувшись, как муха в паутине, Лёвкин обреченно махнул рукой. – Вы что, показать мне хотите? Думаете, правда там моя девочка?

– Ваша, ваша, чья же еще. Поторапливайтесь.

Лёвкин оглянулся на освещенный прямоугольник входной двери. Он знал, что Маша будет спать еще час, может быть два, потом проснется и отправится во двор, возиться с розами.

Придет глубоко за полночь, грязная, с израненными в кровь руками, пахнувшая грязью, свалится на кровать и уснет снова. Бесконечный цикл последних дней.

Женщина потянула:

– Торопитесь, говорю!

И Лёвкин подчинился.

Они шли по пустынной дороге. Лёвкин докурил, вышвырнул окурочек в ночь. Женщина шлепала тапками по асфальту. В ее волосах торчали бигуди. До озера добрались минут за тридцать. Это было старое дикое озеро, с одной стороны густо заросшее камышами, а с другой расчищенное, с торчащими подмостками для ловли рыбы. Тут стояло несколько лавочек и горели фонари.

На одной из лавочек Лёвкин приметил крохотную фигурку, и сердце его заколотилось. Он бросился, опережая женщину, едва не закричал от нахлынувшего возбуждения, от надежды, но скоро понял, что никакая это не фигурка, а сверток одежды, лишь издали похожий на человеческий контур.

– Вон там я ее видела, – сказала женщина, уверенно ткнув пальцем на подмости. – Кидала туткам хлеб. Всё, как на фотографии. Совпадение стопроцентное.

Лёвкин подошел к берегу, ступил на деревянный мостик. Тихо было вокруг. Тихо и темно. Даже лягушки не квакали. Лёвкин попытался вспомнить, был ли он вообще когда-нибудь здесь, и не смог. А ведь они с Ирой любили гулять.

Он обогнул озеро, мимо склоненных ив, мимо камышей, а женщина, стоя под бледным светом фонаря, время от времени кричала ему:

– Точно вам говорю! Поищите хорошенько! Наверняка спряталась. О, эти дети любят везде прятаться!

«Что я такое делаю? – подумал Лёвкин. – Я же был на похоронах утром. Зачем я здесь?»

Но он продолжал упорно шарить взглядом по кустам и среди веток, продолжал испытывать надежду на прочность.

В какой-то момент, когда Лёвкин отошел очень далеко от дороги, женщина крикнула:

– Знаете, она, наверное, уже где-то далеко! Ищите сами! Не нужно мне ваше вознаграждение! – махнула рукой и растворилась в темноте...

Домой он вернулся в одиночестве и, конечно, застал Машу, пересаживающую розы. Сколько раз она пересаживала их с места на место за последние три дня.

– Руки болят, – пожаловалась Маша, когда он присел на корточках неподалеку. – Все в царапинах. Отвезешь меня с утра к доктору?

– Ты это уже говорила. Помнишь? Вчера. И позавчера.

– А ты что?

– С утра возвращаешься. Пересаживаешь и пересаживаешь. Сдались тебе эти розы.

– Запихни меня в такси и отвези к доктору, – сухо сказала Маша. – Не слушай, что я там говорю. Это все из-за чувства вины. Без Ирочки в доме слишком тихо.

Это точно. Слишком.

Он вернулся в дом, принял душ, включил телефон, чтобы проверить почту. Пришло три сообщения о пропущенных звонках. Все с неизвестных номеров. Тут же телефон завибрировал. Разглядывая цифры, Лёвкин понял, насколько сильно устал.

– Алло?

– Я девочку вашу нашел, – сказали в трубке. – Маяковский район, знаете? Где стадион.

– Какой, в жопу, стадион? Она мертва! Мертва, слышите?

– Я смотрю на нее сейчас, – сказали в трубке. – Светлые короткие волосы, улыбается, шортики такие, синего цвета, с корабликом на кармашке. Всё верно?

Лёвкин открыл рот, но промолчал. Про шортики никто не знал. На фото их не было видно, конечно.

– Приезжайте. Она тут голубей кормит хлебом. Не ручаюсь, что смогу её задержать.

Трубку повесили. Лёвкин тут же судорожно набрал такси, потом рванул к жене в огород, схватил её под локоть: «Живее!», и вдвоем они выскочили на улицу. Маша не успела даже помыть руки. Лёвкин чувствовал, как дико, импульсивно, с надрывом бьется сердце. Через несколько минут подъехало такси. В салоне пахло огуречным лосьоном. Лёвкин назвал место, которое у стадиона, хотя ни разу там не был и даже не знал, сколько вообще стадионов в этом городке. Таксист вроде бы понял.

Маша крепко сжала Лёвкину ладонь.

«Этого не может быть, – думал Лёвкин, и тут же. – Но ведь нужно же во что-то верить!»

Их домчали быстро. Площадь с фонтаном перед стадионом была пуста. Лёвкин набрал номер звонившего, но никто не ответил. Маша пробежала вокруг фонтана, потом поднялась по ступенькам к входу в стадион. Везде стояли металлические ограждения. Желтый свет фонарей освещал кабинки касс, пустые лавочки, узорную плитку. Лёвкин тоже бегал, не помня себя от волнения, заглядывал в каждую темную щель, кричал, не удержавшись: «Ирка! Ирка!», но сам же понимал, что никто ему не ответит.

В какой-то момент он увидел на столбе приклеенную листовку, сорвал её, смял, изорвал. Потом еще одну, на соседнем столбе. Кто-то ведь успел обклеить проклятыми листовками весь город!

Телефон зазвонил. Лёвкин не обратил внимания. Он шел от столба к столбу, срывал листы с фотографией дочери и швырял на землю. Ветер подхватывал их, кружил, уносил в темноту.

В отдалении, за углом стадиона, зашевелились тени. Кто-то выдвинулся навстречу Лёвкину – несколько человек, неприметные, серо одетые, похожие на призраков.

– Вы не там ищите, – сказал один.

– Вам надо в центр, к театру Драмы, – вторил другой.

– Возможно, она просто ушла погулять, – говорил третий. В уголке губы его алел кончик зажатой сигареты.

Лёвкин попятился, побежал обратно, увидел, что отовсюду из темноты лезут люди. Они шли неторопливо, наполняя ночную тишину шорохами разговоров.

– Я видел вашу девочку...

– Тут написано позвонить, вот и позвонил...

– У пруда. Тут недалеко...

– А вы опоздали что ли?

Опоздал, конечно опоздал! Лёвкин подбежал к жене, которая, склонившись над газоном у фонтана, рвала розы. Таксист посигналил коротко, привлекая внимание. Зазвонил телефон.

– Да! – рывкнул в трубку Лёвкин, но ему не ответили. Кажется, кто-то всхлипнул, подетски. – Ира? Ирочка! Это ты? Девочка моя! Ты где? Ты жива? Это же неправда, да? Это не может быть правдой!

Он прокричал в трубку еще что-то, потом сбросил, схватил Машу за локоть и потащил к такси. Людей вокруг становилось больше. Они напирали, подходили ближе, пытались дотронуться, обратить на себя внимание. Каждый из них видел Иру, общался с ней, знал её. Каждый хотел помочь.

– У меня ладони болят! – вздохнула Маша. – Проклятые розы. Как же я устала с ними.

Лёвкин тоже устал. Он плюхнулся на переднее сиденье, махнул рукой:

– Гони отсюда, живее.

– Куда? – равнодушно спросил таксист.

– За город. Подальше. Давай туда, где людей нет.

Машина рванула прочь от стадиона, оставляя всё это ночное безумие позади. Лёвкин, наконец, смог отдышаться и прийти в себя. С заднего сиденья что-то бормотала Маша.

– Да, это большое горе, – сказал Лёвкин, не оборачиваясь. – Безалаберность и раздолбайство. Но мы должны теперь жить с этим, Маш. Понимаешь? Жить. Никто нам дочь не вернет. Пройдет пара дней, и мы свыкнемся с мыслью, что ее больше нет.

– А вы уверены, – спросил водитель, – что ваша дочь действительно умерла?

– Я опускал гроб в землю утром.

– А мне кажется, – продолжил водитель, – что я видел её сегодня днем у магазина. Это же ваша дочь на листовках, верно? Такая, с ямочками на щеках, глазищи красивые, шортики с корабликом?..

Лёвкин бросился на водителя с кулаками, потому что больше не мог сдерживаться. Автомобиль вильнул в сторону, подпрыгнул, слетел с трассы и, нелепо кувыркнувшись, ударился боком о дерево. Лёвкина швырнуло через салон, он вышиб головой стекло, покатился по земле, чувствуя, как сдирается кожа, рвутся мышцы, ломаются кости. Где-то визжал и тяжело скрипел металл, дыхнуло жаром, расцвело огнем. Лёвкин упал лицом в траву, хрипло дыша. Из рта, между рваных губ, посыпались осколки зубов, вперемешку с кровью. Боли не было. Позже будет. Лёвкин мимолетно подумал о том, что, наверное, так ему и надо, а потом отключился.

Он пришел в себя на упругом теплом диване, который стоял в гостиной. Босые ноги выглядывали из-под пледа и порядком замерзли. Ночь выдалась холодной, а отопление никто не включал. По комнатам гулял сквозняк.

Лёвкин сел, поглядывая на мерцающий монитор ноутбука на столике. Рядом стояла чашка с какой-то недопитой бурдой. Сигарета в пепельнице истлела до фильтра – хорошая, дорогая сигарета. Пощелкивали датчики, прикрепленные к вискам.

Еще болело, ныло, стонало тело, будто ночная авария случилась на самом деле. Будто он и правда оказался в лесу, среди густого тумана и хлипкой тишины, в искореженном салоне разбитого в хлам автомобиля. Там, должно быть, удушливо пахло горелой резиной и плотью, а высохшие капли крови покрывали уцелевшее боковой стекло...

В животе болезненно покалывало. О чем-то вспомнив, Лёвкин провел языком по губам. Зубы были целы. Да и губы тоже. Зазвонил телефон. Маша.

– Ты где? – спросил он.

– Господи, это ты где? – в ответ спросила она. Голос у Маши был вязкий, заторможенный, словно она снова с утра напилась таблеток. – Я ничего... н-ничего не помню. Только что проснулась. Эти датчики... О, г-господи, мои руки! Я снова рвала розы! Розы рвала, понимаешь?..

Закружилась голова. Маша заплакала. Лёвкин слышал её громкие всхлипы в реальности – жена находилась на втором этаже, прямо над его головой, в спальном комнате. Она умудрилась спускаться к розам даже в таком состоянии...

Небрежным движением он содрал датчики, откинулся на спинке дивана, закрыв глаза. В темноте мелькали неприятные образы, остаточные явления виртуального мира.

– Так и должно быть? – спросила Маша сквозь плач. – Должно быть так тяжело? Я думала, скоро станет легче. Не вынесу. Скоро сдохну. Мне х-хуже.

Ему оставалось бормотать в трубку слова утешения. Он знал, что будет непомерно тяжело. Врач предупреждал. От чувства вины нельзя избавиться просто так. Оно всепоглощающее, всепожирающее чудовище.

Единственный способ – выдавливание его по капле. Через боль и страдание, через потерянную и вновь обретенную надежду.

– Я не могу больше... – шептала Маша, и Лёвкин буквально видел, как её красивое, но заплаканное лицо изминается морщинами горечи. – Это должна была быть твоя вина! Это ты опоздал! Ты!

Всё верно, он опоздал, и из-за этого Ирка умерла. Лёвкин попросту заработался, забыл о времени, а когда вспомнил и вызвал такси, было уже слишком поздно. Ирка забыла телефон дома, вышла из Дома Культуры после занятия в музыкальной школе, не нашла папу и решила добраться до дома пешком. Она хотела срезать через район новостроек и провалилась в канализационный люк, который был прикрыт куском фанеры. Если бы она не ударилась затылком о кирпичный край, то смогла бы выбраться. Если бы Лёвкин быстрее уговорил Машу обратиться не просто в полицию, а еще к волонтерам, то был бы шанс её спасти. Так много «если бы».

– Все будет хорошо, – говорил Лёвкин, не открывая глаз. – Когда-нибудь действительно будет хорошо.

На второй день после Иркиных похорон им позвонили из компании «Психосекьюр» и предложили бесплатную разовую консультацию «в связи с тяжелой утратой».

Лёвкин сомневался, надо ли соглашаться, но Маша знала об этой компании – несколько её подруг обращались к её услугам. Компания занималась лечением психических болезней с помощью новейших технологий. Что-то экспериментальное, не шибко изученное, но и не запрещенное. Рекламный слоган компании гласил: «Мы обезопасим вас от любых психологических проблем». Так себе слоган.

Специалист приехал на дом. Это был лохотечный молодой врач, похожий на модель с фотографии. Он сам попросил кофе, потом достал рекламные буклеты и разложил их на столе.

– Я знаю, что вы сейчас испытываете, – сообщил врач, и Лёвкину захотелось ударить его в переносицу, чтобы сломать очки. – Вы испытываете острое чувство вины. Это нормально. Я бы удивился, если бы вы чувствовали что-то другое. Сколько раз за ночь вы просыпаетесь, перебирая в мыслях причины, действия, последствия, которые привели к гибели дочери? Два, три, десять?

– Последние два дня я не сплю совсем, – сказала Маша.

Она ухаживала за розами. Маленькая клумба была её местом успокоения от насущных дел. В тот день, когда Лёвкин не успел забрать дочь из Дома Культуры, Маша возилась с цветами, будто они были для неё центром вселенной. Руки у Маши всегда были покрыты множеством мелких порезов. Они приятно пахли.

– Мы вас вылечим, – сказал специалист и улыбнулся.

Он рассказал о сращивании науки и технологий, о разработке визуальных редакторов, погружающих пациентов в виртуальную реальность, неотличимую от настоящей, об алгоритмах, позволяющих вылечить любую, даже самую тяжелую психологическую болезнь.

Специалист умел продавать свой товар. Он достал из кейса небольшое устройство с липучими датчиками, предложил попробовать – всего лишь на пару минут – погрузиться в другое состояние, где вы почувствуете облегчение и комфорт.

– Наши люди, – говорил он. – Готовы написать индивидуальный план лечения при помощи полного погружения в проблему. Чувство вины – это гнойный нарыв у вас в мозгу. Его надо выдавить. Да, будет больно и невыносимо. Но если вы преодолеете боль, почувствуете облегчение. Поверьте.

Лёвкин попробовал поверить. А потом купил полный курс из двенадцати погружений по индивидуальной программе. Потому что ему это было нужно. Вина сжирала его изнутри.

– Вдруг у нас не получится? – спрашивала Маша, всхлипывая, а у него не было сил подняться с дивана и пойти к ней. Только голос из телефона. Реальный или выдуманный – не разобрать. – Вдруг нас водят за нос? Это восьмое занятие, но я не испытываю облегчения! Я вообще ничего не чувствую, кроме постоянного кошмара! Это слишком жестоко! Сделай же что-нибудь!

Он молчал, потому что не знал, что сказать.

Лёвкину тоже не становилось легче, он выныривал из виртуальной реальности разбитый и подавленный. Ему казалось, что стоит выйти на улицу – и он снова увидит листовки, расклеенные на столбах. Их потрепал ветер и намочил дождь. Фотографии его дочери разбухли и покрылись волдырями. Но они всё еще висели там, их никто не снимал.

Может быть, думал Лёвкин, это и есть реальность – мир, где он гоняется за умершей дочерью?

Он вспомнил, как молодой специалист сказал:

– Гарантий мы не даем. Чувство вины может быть так глубоко в вашем сознании, что никакие технологии его не вытравят. Вы осознаете это?

Тогда не осознавал. А сейчас – не был уверен.

– Маша, Машенька, давай продолжим, – попросил он, перебивая жену.

Во рту чудовищно пересохло, замерзли босые ноги, воняло чем-то протухшим, и вообще этот мир был по-настоящему отвратительным, потому что это была реальность.

– Всего четыре занятия. Осталось немного. Надо идти вперед. Двигаться. Ради Ирки.

Маша помолчала. Потом произнесла:

– Я не хочу видеть тебя, пока мы не закончим.

– Потом будет легче, – пообещал Лёвкин.

Он положил трубку и протянул руку к датчикам. Они были теплыми и потрескивали. Пара движений мышкой. Ноутбук засветился голубоватой эмблемой «Психосекьюр».

Занятие #9. Индивидуальное занятие «Виноватые».

– Мы переживем, – пробормотал Лёвкин пересохшими губами.

Он несколько дней не вставал с дивана. Мочился здесь же. Не умывался и не причесывался. Ел сухой хлеб и собирал колючие крошки с тарелки. Вода закончилась, но было не до нее. От сквозняка болела поясница. Лёвкин нажал «Старт», свернулся калачиком на вонючем диване и закрыл глаза.

Чувство вины не проходит просто так. Гарантий излечения нет. Но ведь каждый пытается от нее избавиться, верно?

Телефон зазвонил. Неизвестный номер. Голос в трубке, суховатый, старческий, спросил:

– Это ваш ребенок пропал? Девочка такая, в шортиках? Каково вознаграждение, не подкажете?

Запретное слово Чёрного дома

Обитателей Чёрного дома от слова «завтра» бросало в дрожь.

Весной оно означало, что еще одним днём меньше осталось до того, как начнет протекать дырявая крыша, и плесень снова расплзётся по стенам зеленоватым пухом; Марта от ледяной сырости опять начнет с кровью выкашливать легкие, а кто-то из сердобольных новичков, заигравшихся в доброго доктора, обязательно подхватит у нее заразу. Летом это слово издевательски напоминало – в любую минуту может начаться Облава, и придется в очередной раз прятаться в катакомбах, а там – дрожать среди ржавых труб, ловить крыс, чтобы поест, или бежать от них, чтобы не быть съеденным. Осенью «завтра» деликатно намекало, что пора сбора урожая бессовестно коротка, и спать некогда – упустишь время сейчас, и потом, когда полу-сгнившая мороженая мильва будет идти по четыре смирны за штуку, распухнешь от голода.

А зимой... Зимой это клятое «завтра» было отмечено привкусом позорного счастья: если ты слышишь его, значит, сегодня умер кто-то другой.

Из попадавших Чёрный дом до следующего года обычно доживал только один из сорока; еще трое пытались вернуться обратно, к легальным – но этих самоубийц тоже списывали со счёта.

Каждый в Доме знал – возврата нет.

«Завтра» дарило фальшивую, убийственную надежду. Но всякий раз находился кто-то, поклоняющийся этому лживому божеству.

– Завтра... – мучительный шёпот песком сыпался из обветренных губ, и в холодную, затхлую темноту Чёрного дома торжественно вступал призрак мечты, пряча оскал черепа за шёлковой маской. – Завтра они обязательно поймут свою ошибку, простят меня, да, да, да... Не может быть, чтобы не простили...

Услышав шёпот этот, кто-то затыкал уши, кто-то раздражался хриплым смехом. А Марта, вечная Марта, иссохшая почти до состояния скелета, давно уже не мёртвая и не живая, сжимала в кулаке свой талисман – осколок храмовой стены, и молилась исступлённо: «Пусть ему повезёт, хоть одному из нас, пожалуйста, разве я много прошу?».

Так было от начала времен и, казалось, будет всегда.

Но однажды, в конце под обветшалую кровлю Чёрного дома ступил Псих.

– Завтра, – произнёс он торжественно, – всё изменится. Или не завтра, – добавил со смущённой улыбкой начинающего мессии. – Но изменится обязательно. Я обещаю.

Донк, хохотнув коротко, отвернулся; после четырех лет в статусе нелегала он хорошо знал цену таким обещаниям. И срок. Ровно до первого дня зимы. Другие тоже не особенно обрадовались новичку: явно лишний болтливый рот и пока ещё неизвестно, какой добытчик. Может, растяпа. Может, неудачник. Может, и вовсе он работает на Свору.

Только Марта, по обыкновению, бормотала что-то себе под нос, и тусклая полоска белка влажно блестела под краем сморщенного века.

– Я знаю, что вы мне не верите, – настойчиво продолжал Псих. – Трудно верить в светлое будущее на голодный желудок. Но дайте мне шанс! А пока... – он суетливо сбросил на пол заплечный мешок и распустил узел. – А пока разделитесь, пожалуйста, на группы по здоровью. Я захватил с собой лекарства от кожной гнили, от паразитов, от легочных заболеваний и еще кое-что. Тут немного, но должно хватить на всех.

Смешки как отрезало.

– Рюк есть? – хрипло спросил Манки и приподнялся на дрожащих ногах-соломинках.

– Обезболивающее? Конечно, – озадаченно нахмурил светлые брови Псих. – Но вы же знаете, там столько побочных эффектов – я бы не рискнул выдавать его без обследования, хотя бы и примитивного. Погодите, что вы... Эй! Осторожно! Здесь же лекарства!

Донк отвернулся к стене и заткнул уши. Рюк принести в Чёрный дом, это додуматься надо... Двойная доза – сладкий сон на целые сутки, мечты и грёзы; тройная – легкая смерть. Искушение отчаявшихся.

Донк старался не слушать, но звуки все равно прорывались. Вопли, визг, рычание и горькое «Да что же вы делаете, нельзя так!».

Кончилось все довольно быстро. Счастливчики расползались по углам, обнажая в счастливых оскалах черные от рюка зубы, и погружались в яркие сны. Невезучие дураки тихо скулили, баюкая сломанные руки, растирая по разбитой роже липкую кровь или просто свернувшись от боли жалким клубком. Псих, уже не такой чистенький и сияющий, как полчаса назад, растерянно сгребал в кучу раздавленные ампулы, растоптанные блистеры, сверкающие клочки фольги и белесое крошево таблеток.

– Почему... – шептал он, и лицо его было искажено. Или это тени так падали? – Почему вы не хотите даже попытаться? Я ведь могу помочь... Слышите, я могу вам помочь! – Псих сорвался на крик, но обитатели Чёрного дома только отворачивались. Или, как Донк, таращились из темных углов.

Марта, кряхтя, поднялась со своей подстилки, подошла к Психу и встала рядом с ним на колени.

– Ты целые-то прибереи, а? – прошелестела она. – На зиму. И, это... спрячь. Сопрут, как есть сопрут.

Псих моргнул растроганно раз, другой – и потянулся к Марте, будто хотел ее обнять. Но та шлёпнула его по рукам:

– Ну, ну, и себе слизня под ребро захотел? И откуда такие берутся-то...

Псих опять улыбнулся и, оглянувшись, зашептал что-то Марте, цепляясь за ее ободраный рукав. Донк сам с собой поспорил, что до середины осени этот дурень не дотянет.

Донк ошибся.

Изрядно поистрепавшийся, почерневший от солнца и гари, стерший руки до мозолей Псих шнырял по всему Дому с бесцельными уговорами.

– Вы только подумайте – немного усилий, и зимой будет гораздо легче жить! Если просто свалить мильву в подвал, то половина стгниет. Но если сначала подсушить ее на крыше... Смотрите, десять человек собирает ее, один сторожит на крыше, другой ссыпает готовую мильву в коробки, перекладывая её листьями баровника. Всё это у нас под боком растёт, понимаете? А рыба! Шестерых человек достаточно, чтобы натаскать из пригородных карьеров соли. Если засушить рыбу с солью, она будет гораздо дольше храниться, и...

– Ты, это, не умничай, – Манки снисходительно похлопал своей высохшей куриной лапкой ему по плечу. – Свора нас на шесть дней в город выпускает. Попрёмся за листочками – зимой сдохнем. Гнилое, вишь ты, жрать ещё можно. А ежели нет ничего, то и нечего. Ну, ты пошевеливайся, а? У нас тут правила простые. Что в общую кучу не положил, то оттуда и не возьмешь. Понял, да?

– Дайте мне шанс! – Псих начал суетиться и злиться. Как всегда. Донк от скуки только сплюнул на грязный пол. – Дайте шанс, хоть один! Поверьте, я знаю о чем говорю, я всё считал!

Марта бросила перебирать мильву и похромала к Психу. Подошла, потянула к выходу за край драной рубахи:

– Не надо, – краем уха уловил Донк ее бормотание. – Нельзя так в лоб. Соль нужна, да, и баровник. Ты, это... сбегай, коли хочешь. Я на твою долю мильвы наберу, да, – скрюченные

старушечьи пальцы робко зарылись в спутанные от грязи, но все еще светлые волосы Психа. – Молодой еще. Перебесишься...

«И чем скорей, тем лучше», – подумал Донк.

Облава началась, когда её не ждал никто.

Раньше Своры всегда зачищали Чёрный дом только летом. О приближении своём они оповещали издали механически-гнусавыми голосами «крикунов»: «Санитарно-военная очистительная ревизия, просим оставаться на местах! Пожалуйста, оставайтесь на местах!». Заслышав этот клич, страшный не сам по себе, а тем, что он предвещал, все, кто могли держаться на ногах, утекали в катакомбы. Оставшиеся – заразные, калеки или просто больные надеждой – бестрепетно ожидали своей участи.

Когда-то давно Свора просто огненным вихрем проходила по Чёрному дому, оставляя после себя только трупы. Но в последние лет десять люди стали пропадать бесследно. Некоторые из тех чудаков, что грезили обманчивым «завтра», говорили, что Империю, мол, развалили, теперь на ее месте какая-то Республика стоит и ей-де нужны граждане новые, будто бы народу в переверот полегло – ух, сколько! Ну, эти мечтатели жили до первой Облавы. А потом или пропадали совсем, или оставались на грязном полу с простреленной башкой.

Другие, поумнее и поопытнее, вроде Манки, пугали новеньких другой сказкой. Мол, голод в Империи, и не брезгают теперь легальные и человеческим мясом. В это почему-то верилось охотнее, как и в любую жуть.

Псих, слушая Манки, только кривился и бросал снисходительно: «Что б вы понимали!». Но кто будет Психа слушать? Да и людей из Чёрного дома, вернувшихся в закон, никто никогда не видел, а трупы – вон они, после каждой Облавы оставались. Потому и боялись появления Своры, и потому в тот миг, когда Яршек скатился с крыши с очумелыми глазами, вопя:

– Свора идёт, Свора! – все заметались, как ошпаренные щенки. Сразу поверили. Какой дурень рисковать станет? Вот и Донк тут же подхватил с пола лежак, свернул, забросил на спину и драпанул к подвалу. Первым проскочил – поэтому то, что наверху случилось, только из рассказов и узнал.

Псих и здесь оказался дурнее всех. Вместо того чтобы уйти по-тихому, он подбивал других остаться. Или, если уж они верят свято в то, что Свора убивать приходит, надобно забрать в катакомбы и своих, не бросать их на погибель. Хотя бы не заразных, а тех, кто ногу подвернул или просто не вовремя наглотался квашёнки. Манки его быстро вразумил кулаком по уху, а то некоторые простофили уже начали вслушиваться в крамольные речи. Чего «квашеных» забирать, ежели они сами за себя постоять могут? Отползти, там, или спрятаться, или дубиной какого олуха из Своры огреть... Тут Псих начал вопить сущую несурязицу про какую-то апелляцию, и его быстро затолкали в катакомбы.

– Там же Марта осталась! – надрылся Псих, но серая человеческая масса увлекала его все глубже и глубже. – У нее приступ, за ней уход нужен! И Свора ее не заберет, её же могут и не найти – она наверху! Пустите меня!

Но назад его, конечно, не пустили. Несмотря на два месяца, проведенных в Доме, он оставался еще крепким и здоровым, к тому же кое-что смыслил в лечении. Такими людьми не разбрасывались. Да на этот раз Облава и длилась-то недолго. Востроглазый Яршек, посланный на разведку через два дня, вернулся и сообщил радостно, что Свора ушла. Жители Дома отправились в обратный путь, и в самом хвосте плелся Псих с посеревшим лицом и разбитыми руками.

А в Доме изменилось не так уж много. Разве что запах крови и пороха ненадолго перебил вонь плесени. Выживших было не так уж много, куда больше пропавших. Но Серый, схлопотавший от Своры пулю под рёбра, забился в старые одеяла и уцелел. Да и Ювин, видать, вовремя протрезвел и невесть как выполз на крышу, а там все два дня пролежал под козырь-

ком... Еще в некоторых смельчаков стреляли, но больше мимо – кому ногу рассадили, кому плечо, кого пуля чиркнула по спине.

Манки вздохнул горестно – давно не бывало, чтобы Свора так грязно работала. К счастью, он помнил, что надо делать.

– Яршек, лом сверху неси. Вы, это, ребята, – обернулся он к остальным. – Выносите дохлых на улицу, к забору. Вечером запалим. А этих... – он легонько пнул в бок Стори, мечущегося в лихорадке, но несчастный даже не заметил этого. Донк отвернулся. Стори было жалко – новенький, веселый, добрый. Вот же не повезло! – Ну, им я пособию. Вы, это, не сумлевайтесь.

Псих спал с лица, хотя казалось – куда там уж больше.

– Вы же не собираетесь их... Их можно еще спасти! Правда! Я сумею!

– Кабы лето было, я бы слова супротив не сказал, – Манки оскалился щербато. – Но так зима на носу. Кого вытянешь, кого нет, а еду и лекарства на всех переведешь, – потом подумал и добавил: – Ну, Ашку забирай, так и быть. Она квашёнку хорошо варит, а ноги ей без надобности... И эту, Марту свою. Подружка, агась? – и подмигнул глумливо. Псих вскинулся сначала, а потом как будто потух. Опустил патлатую голову и тихо сказал:

– Хорошо. Спасибо. Вам видней.

У Донка аж от сердца отлегло. Всё, перебесился. Теперь успокоится. Можно будет даже имя у него настоящее спросить – не все же звать Психом?

Псих молчал до самой ночи. В углу не сидел, надо должное ему отдать, работал со всеми. Носил трупы к забору, в яму. На Манки не смотрел, как и на тяжелый лом в морщинистых руках, но и помешать не пытался, когда лежащих добивали. Видимо, крепко задумался о чем-то. И если бы Донк знал тогда, о чём, то вырвал бы у Манки лом и проломил Психову дурную башку.

– Значит, вернулся, – Имир не спрашивал – он утверждал. – Сигаретку? – предложил он, как будто Сэлим ушел только вчера, а не четыре месяца назад, после страшного скандала.

– Сигаретку потом. Сначала в душ и на дезинфекцию. Паразиты.

– Разумно. А это кто? – Имир кивнул на старуху, которую Сэлим притащил на своем горбу. Через весь город. Вот же упрямец...

– Марта, – коротко ответил Сэлим, как будто это всё объясняло.

– Ясно, – вздохнул Имир и нажал звонок, подзывая слуг. Сэлим всегда был... с характером. Но это хорошая черта для человека его профессии. И, кажется, безрассудная выходка в итоге пошла юноше на пользу. – Мартой займутся, оставь ее здесь. Лёгочная немочь?

– Да. Приступ.

– Как и ожидалось. Иди, иди, Сэлим, не беспокойся, тут не Чёрный дом, раненых мы не добиваем. А Марте нужен сейчас врач, а не плечо поддержки. Верно, сударыня? – галантно обратился он к старухе, но она только затравленно посмотрела на него. – Не бойтесь. Вам не причинят вреда.

Взгляд Сэлима смягчился и стал немного похож на тот, прежний.

– Он прав, – Сэлим помог Марте сесть в кресло и крепко сжал ее руку. – Не тревожься ни о чём. Все будет хорошо. Я же обещал, помнишь?

Старуха судорожно кивнула и вцепилась скрюченными пальцами в осколок белого камня на веревочке, висевший у нее на шее. Сэлим почему-то улыбнулся и наконец соизволил отправиться в блок для дезинфекции.

Имир взглянул на часы. Половина второго. Кажется, ночь будет долгой...

После всех необходимых процедур Сэлим свалился, как подрубленный, и проспал почти сутки без перерыва. Но в этом были и свои плюсы. Когда он, отмытый начисто, остригший свои патлы и облаченный в строгий костюм, спустился к завтраку, Имир уже знал все, что требуется.

– Значит, Чёрный дом сгорел. Со всеми обитателями, – вчерашняя газета шлёпнулась на стол. – Твоих рук дело?

У Сэлима ни одна черточка не дрогнула. Лицо его, все еще серое от болезни и утомления, с заострившимся носом и истончившимися губами, было словно высечено из камня. Как барельефы в здании Суда, изображающие Справедливость и Непреклонность.

– Да. Моих.

– Вот как? – выгнул седые брови Имир, но удивления в его голосе не было. – А как же милосердие, второй шанс для каждого, о которых ты твердил мне с таким жаром?

Сэлим отвернулся. Ёжик светлых волос теперь казался седым, но дело могло быть всего лишь в освещении. Осеннее солнце – и есть осеннее солнце. Даже на теплой, застекленной веранде оно обрекает на уныние.

– Второй шанс нужен только тем, у кого осталась надежда, – сухо ответил Сэлим. – Тем, кто стремится жить, а не просто выживать. В Чёрном доме никто никого не держит насильно. Но почему-то выйти из него и оспорить приговор, подать апелляцию на возврат гражданских прав не решается почти никто. Два-три человека за год. И их считают безумцами. А ведь нет никакого риска! В худшем случае, смельчак просто вернётся в Чёрный дом. Но здоровому, готовому встать на путь исправления человеку, или доказавшему, что обвинения были ложными, восстанавливают все права! Но эти... Они даже пытаться не хотят. Покорно ждут смерти.

– Что ж, каждый сам выбирает свою жизнь, – пожал плечами Имир. – Кофе?

– С удовольствием.

Любимый прежде запах казался теперь Сэлиму ирреальным. В нем чудились кислые нотки мильвы и затхлость плесени. Но вот горечь на языке была тем самым, необходимым.

– А как же твоя идея вытащить их всех? Рассказать им о возможности подать апелляцию?

Сэлим невесело рассмеялся.

– Какая апелляция? Они лекарства втапывали в пол, слышишь? Те, которые могли бы избавить их от легочной дряни или язв. А за рассказы об апелляции, о шансе на выход из Чёрного дома, меня просто начинали избивать – и били, пока я не замолкал. «Ты нас не путай, э!» – зло передразнил он кого-то. – Эти люди... существа – не хотели сделать даже маленький шаг к лучшему, а ты говоришь – апелляция. Ты знаешь, что они добивают тех, кто выжил после зачистки?

– Конечно. Наблюдатели докладывали. Отвратительная традиция.

– Отвратительная? – на лице Сэлима появилось растерянное выражение, но быстро его сменила прежняя холодность. – Может быть. Сейчас я уже в этом не уверен. Ведь в Доме больные не переживут зиму, а наружу их никто не выпустит. Да и сами они не пойдут... Может, оно и к лучшему? Имир! Не смотри так на меня. Я страшные вещи говорю, да? Сам себе противен. Мне вообще кажется, что я превратился в чудовище... – он помолчал немного и добавил уже спокойней: – Полагаю, меня следует отстранить от наследования. Возможно, тебе стоит передать причитающуюся мне должность кому-нибудь из племянников. Морэс, насколько я помню, окончил курсы с отличием. Он добрый и... неиспорченный. В отличие от меня.

– Вот поэтому ему и нельзя возглавлять Свору, – вздохнул Имир. – Такому, как Морэс, хватит дури запретить нашим людям носить оружие, и в очередном Чёрном доме, обитатели которого будут не так трусливы, отряд поляжет целиком. А ты помнишь цели Новой Своры?

– Вернуть тех, кто достоин. Не позволить вернуться недостойным, – заучено ответил Сэлим и уткнулся лицом в сложенные руки: – Имир, я просто не смогу сейчас судить, кто достоин, а кто нет, – произнес он глухо. – Кто я такой? Идиот, четыре месяца проживший в Чёрном доме, и вытащивший из него одну сумасшедшую старуху? Какое я имею право судить кого-то, имея такое прошлое?

– Ну-ну, тише, Сэлим, – Имир успокаивающе положил руку ему на плечо. – У каждого из нас есть в прошлом свой Чёрный дом. Главное – не тащить его в собственное «завтра».

– Завтра... – с мукой в голосе протянул Сэлим и вдруг вздрогнул всем телом, будто от удара. Казалось, все его существо внезапно захватила какая-то мысль, настолько огромная, всеобъемлющая, что на мгновение она вытеснила и горечь поражения, и острый привкус вины, и затхлость отчаяния. – Завтра... – повторил Сэлим уже громче и отнял руки от лица. Глаза его были красными и воспаленными, но сухими. – Что ж, я не могу обещать наверняка, но попытаюсь, Имир. Но сперва поклянись остановить меня, если ты увидишь, что я иду не по той дороге.

Имир отвел взгляд.

– Даю слово.

– Спасибо, – впервые за очень-очень долгое время улыбка Сэлима стала искренней. – И кстати... Как там себя чувствует Марта?

2

Страх: Медуза Горгона



Исполненный смертоносного ужаса взгляд Медузы Горгоны способен обратить любое живое существо в камень.

Изоляция

На Таганскую-кольцевую я перешел в привычном потоке беспокойных людей. Не час пик, конечно, но для Москвы полдесятого вечера – это еще далеко не ночь.

Легко кололо в висках, как всегда бывало к концу рабочей смены. Осталось обойти несколько вагонов, потом быстро домой и под душ, смывать налипшую за день безнадежную душевную грязь.

В закружившемся вихре сухого теплого ветра прогрохотал состав. Открылись двери, я поспешил первым, протиснулся между двух девочек-красавиц, одетых в короткие юбочки и легкие куртки.

«Следующая станция – Курская».

Двинулся в центр вагона, ухватился рукой за поручень, споткнулся о чью-то ногу, зацепил кого-то плечом, буркнул извинения, остановился лицом к окну, за которым мелькала дрожащая чернота с редкими вкраплениями желтых пятнышек. Люди вокруг сидели, читали, дремали, слушали музыку. Все, как обычно.

Люблю умиротворение вечернего метро. До поры, до времени.

Огляделся.

Нужная мне девушка стояла на расстоянии вытянутой руки, ближе к центральным дверям. Лет семнадцати, в короткой джинсовой юбке и в черных колготках. Еще куртка старая, болоньевая, совсем не по сезону. На ногах «шुзы». Рыжие немытые волосы растрепаны. Зеленоглазая.

И что она успела натворить в свои-то годы? Какие страшные вещи?

Я с интересом наблюдал за ней, за ее взглядом, хаотично мечущимся между людьми. Представил, что творится сейчас в ее душе. Буря? Адреналин? Хаос?

Сколько она здесь? Третий день. Не понимает ничего, надеется, что розыгрыш, что скоро все закончится. Придут, значит, и освободят.

Наивная.

Поезд начал притормаживать. Рыженькая торопливо шагнула к дверям. Всего два человека преграждали ей дорогу: коренастый мужичок и дама с электронной книжкой. Типовой набор вагонного бульона.

Один шаг, дорогая, и ты окажешься на станции Курская. Вроде бы крохотный шажок, миллион раз так делала, да?

Из черноты выкатилась платформа, заполненная людьми. Поезд остановился. Рыженькая занервничала, попыталась обогнуть даму с книжкой. В эту секунду – я знал – она испытала самый острый в своей жизни приступ надежды.

Дверцы зашипели, пытаясь раздвинуться, но застряли, обнажив узкую, сантиметров в пятьдесят, щель. Коренастый мужичок внезапно передумал выходить и двинулся спиной назад, отталкивая и даму с книжкой, и рыженькую. Слева потянулась вереница людей, пытавшихся выйти. Они протискивались в щель, ругались, скалились друг на друга, словно дикие звери.

Я наблюдал за рыженькой. Рыженькая не сдавалась.

Она бросилась вперед, толкая даму с книжкой, бесцеремонно отпихнула локтем коренастого мужчину... давай, милая, еще пара шагов... Но тут вдруг резво подпрыгнул к дверям старичок с тростью, задел меня плечом, отеснил рыженькую – и следом за старичком заспешили еще люди, и все они как-то ненавязчиво, незлобно, но очень старательно отталкивали рыженькую от выхода.

Она барахталась на одном месте, словно угодила в человеческую воронку, размахивала руками, толкалась... но еще не кричала. Слишком рано. Кричать начинают неделе на третьей.

Секунда-две – и в полуоткрытые двери устремились люди с платформы. Беспощадный поток. Рыженькую смяли, едва не сбили с ног и утащили в середину вагона. Кто-то прикрикнул:

– Эй, смотри, куда машешь! Отрастила, блин, махалки!

Двери сошлись. Поезд тронулся. Люди расступились, расселись, освободив место в центре, и я увидел рыженькую в углу вагона, под плакатом правил поведения в метрополитене. Рыженькая опустила на пол, поджав ноги.

Очень больно потерять надежду. Но еще больнее, в конце концов, понять, что никакой надежды не было. В этом месте приходит страх.

Замелькали огоньки в черноте. Старое полотно привычной жизни.

Я прошел к крайнему свободному сиденью, положил рюкзак на колени, расстегнул молнию и вытащил сначала сверток с едой, потом пакет с яблоками и мандаринами.

Есть люди, которые заходят в метро и больше никогда из него не выходят. Так бывает. Встаешь утром, одеваешься, спешишь на работу или на учебу, а может, еще по каким-то чрезвычайным неотложным делам. Спускаешься по эскалатору, считаешь лампы, ползущие вверх. Подбегаешь к составу, едва успеваешь заскочить в последнюю дверь последнего вагона.

Осторожно, иногда они закрываются.

И всё. Обратно уже не выйти.

Это кольцевая, которая никогда не уходит в тупик. Бесконечные поезда, мчащиеся по кругу.

Можно попытаться нажать стоп-кран – но он не сработает или заклинит.

Можно попытаться вышибить стекло – ни одно не разобьется, как ни пытайся.

Можно спровоцировать толпу, чтобы люди сами выпихнули тебя на остановке – но люди не выпихнут. Они очень торопятся по своим делам. Они никого и никогда не замечают. Вошли – вышли. Короткая пересадка на линии вечности.

Много всего можно успеть сделать, кроме самого главного – сбежать. Надежда рано или поздно изнашивается, сквозь расхламленные дыры в стертом одеянии проглядывает страх. Он холодный и липкий, с дурным запахом обезболивающего. Он оставляет только шум колес, гул ветра, скрежет открываемых дверей.

Я положил еду и пакет с фруктами под сиденье. Через двадцать минут, ровно в десять, состав высадит последних пассажиров на всеравнокакой станции и умчится в черноту, где будет нарезать круги без остановки до самого утра. Рыженькая найдет еду и прикончит ее в полчаса, не думая о том, что следующая порция появится только завтра вечером. Она еще не сообразила распределять запасы. Она еще не научилась тут жить.

Поезд начал притормаживать. Я поднялся, мельком взглянул на рыженькую. Её не жалко. Просто я люблю запоминать лица новых людей.

Дня через три, может быть, подойду и поговорю с ней. Объясню, что и как. Заодно спрошу – за что? Наверняка она знает. Каждый знает, но многие не говорят.

На платформе дождался следующего состава. Отыскал нужный вагон. Зашел. Внутри было немногочисленно.

Человек развалился сразу на трех сиденьях, закинув ногу за ногу, делал вид, что читает потрепанную газету. Был он бородат, седовлас. На фалангах пальцев правой руки синели выпуклые буквы «Ж.О.Р.И.К». Где-то человек разжился коричневой кожаной барсеткой. Неделю назад ее не было.

– Сигареты привезли? – спросил человек, не поднимая взгляда. Газету он держал вверх ногами.

– Вы бы хоть поздоровались, – отозвался я, выудил из рюкзака блок «Нашей марки» с фильтром и дешевую зажигалку.

– Дел у меня больше нет, с вашим братом здороваться. – Он нехотя сел, отложил газету, взял и распечатал пачку, воткнул сигарету в уголок рта, раскурил.

– Мужчина! – тут же завопила женщина у дверей. – Мужчина, курить запрещено!

– А вы на меня пожалуйста кому-нибудь, – посоветовал седовласый, пуская дым двумя струйками из ноздрей. – Вот сразу, как выйдете на Проспекте, так и жалуйтесь. Пусть за мной придут и высадят. Ага. Я готов.

Конечно, он знал, что никто его не высадит. Седовласого попросту не найдут. Ни в этом вагоне, ни в каком. Таких никогда не находят. Разве что заметят краем глаза какого-то странного человека, или на мгновение испытают легкое раздражение оттого, что кто-то зацепил плечом, толкнул, нагрубил... но это быстро забывается. Нужно всего лишь выйти.

Он повернулся ко мне, беззаботно разглядывая. Сказал:

– Вот, свернуть бы вам шею за такие дела. Честного человека взяли и засунули черт-те во что! Это же форменная тюрьма!

Я достал из рюкзака сверток с едой, пакет с яблоками и мандаринами. Произнес давно заученное:

– Это не тюрьма, Георгий Юрьевич, это изолятор временного содержания. Вас поместили сюда до вынесения приговора.

– А кто это решил? За какие такие грехи?

Я не ответил, положил еду и фрукты на сиденье. Седовласый не настаивал. Это была наша своеобразная игра.

Никто не застревает в метро просто так.

Изолятор для таких, как Георгий Юрьевич. Для тех, кого надо изъять из человеческого мира ради безопасности других людей.

В Москве изолятором служит кольцевая. В Питере – маршрут по каналам и рекам (человек приходит на экскурсию, садится в катер, укутывается в теплый плед... и кружит по водной глади, по Мойке, каналу Грибоедова, по Фонтанке и Неве, оставшись один-одинешенек, не в силах даже встать с места). Скоро, впрочем, и в Питере запустят свое подземное кольцо. В других городах есть чертовы колёса, карусели, закольцованные туристические трассы.

Это места, где размыто начало пути и нет окончания. Идеальный вариант бесконечности.

– Я пять лет кручусь здесь, не имея возможности выйти, – произнес седовласый, сминая фильтр большим и указательным пальцами. – Я моюсь из ведра, хожу в туалет вон в том углу. Я расчесывался последний раз на прошлый Новый год. Вы думаете, этого недостаточно для искупления каких-то грехов?

– Нет, не искупили, – ответил я, – пока не было приговора, вы будете сидеть здесь. Сами же знаете.

А ведь он убил человека. Перед этим отсидел три года за грабеж, вышел по досрочке, доехал до Москвы и в первый же вечер вольной жизни решил разжиться легкими деньгами. Подкараулил одинокого паренька в подворотне, не рассчитал сил, приложил его головой об асфальт. Открытая черепно-мозговая, полтора часа без сознания на холоде – и вот вам невинная смерть. А Георгий, наш, Юрьевич спустился в метро, еще не зная, что застрял.

Кого попало в изолятор не сажают. Кто-то наверху, высшие какие-то инстанции определяют тяжесть преступления. Убийства недостаточно – иначе вагоны метро давно были бы забиты такими вот, как Георгий Юрьевич. Важны последствия. Тот паренек в подворотне что-то значил для мира в целом, и теперь его больше нет. Прервалась нить судьбы, и седовласый сидит тут, небритый, грязный, с сальным лицом и потрескавшимися губами, неопрятный и озлобленный. Ждет приговора.

Он опытный зэк. Дыхнул мне в лицо сизым дымом:

– А и пошел ты... – выхватил из барсетки короткий блестящий штырь, прыгнул в мою сторону – невероятно ловко для своего возраста. Штырь вошел мне под кадык почти до осно-

вания. Я почувствовал горячую потную ладонь на своей шее и твердое упругое лезвие, разрывающее плоть, уткнувшееся в челюстную кость. В висках закололо.

Лицо Георгия исказилось, сигарета выпала изо рта:

– Почему не сдыхаешь? Почему не сдыхаешь? – шипел он мне в ухо, проворачивая штырь.

А я улыбнулся. Ему надо было попытаться. Этот человек просто так не сдается. Уважаю.

– Мне не положено, – сказал, – умирать.

Потом взял Георгия за шею, легко надавил и вырубил. Георгий обмяк, я уложил его на сиденья, около свертка с едой и блоком сигарет.

Люди бросали на нас любопытные взгляды, но как только отворачивались – забывали.

Остановка – Проспект Мира. Увы, мне пора.

Завтра Георгий будет снова ждать меня с сигареткой в зубах, словно ничего и не было. С ним приятно было болтать о смысле жизни. Но я знал, что скоро придет приговор и по его душу.

Я вышел, на ходу вытаскивая из шеи штырь. Повертел, разглядывая. Хорошая работа. Старался. Оставлю на память, в коллекцию бесчисленных мелких атрибутов смерти. Кто-то пытается покончить жизнь самоубийством, кто-то пытается убить меня. Люди шаблонны в своих поступках.

Посмотрел на часы – без десяти десять.

Следующий поезд – финальная часть сегодняшнего пути.

В вагоне кроме меня находилось только два человека.

Первый – парень двадцати двух лет. Он в изоляции всего две недели. Пользуясь моментом, попытался выскочить – людей-то нет. Но двери перед ним попросту не открылись. Он метнулся в мою сторону, споткнулся, опоздал.

Поезд тронулся без объявления следующей остановки.

Второй – мужчина, чуть лысоватый, представительный. Ездит по кругу второй год. Еще не успел износить до дыр темный дорогой пиджак. Как-то попросил щетку и черный крем для обуви. С тех пор постоянно натирает остроносые ботинки.

Оба увидели меня, оживились. Еще бы. Яблоки и мандарины.

Но сегодня у меня нет для них фруктов. Только два проездных на метро в кармане. Два готовых приговора.

– Знаете, что это за чернота за окнами? – спросил я, нащупывая рукой новенькие бумажные проездные. – Это бесконечный мрак Преисподней. А мелькающие в ней огоньки – это души, которые завязли в нем навсегда. Тюрьма для людей, которым уже ничего не поможет. Вечная ссылка. Поэтично звучит?

Паренек сразу все понял. Две недели назад он задушил мать, распилил ее на части, упаковал в пакеты и выбросил за городом на свалку. Ему нужна была квартира для того, чтобы устроить бордель – совместный бизнес с двумя корешами по подъезду. Правда, делиться он тоже не захотел, и в тот же вечер напоил, а потом забил друзей молотком. Всю ночь старательно распиливал тела, упаковывал, складывал в багажник старенькой «шестерки». Паренек бросил автомобиль неподалеку от загородной свалки, доехал до города на электричке и спустился в метро. Терять ему было нечего.

Он бросился на меня, повизгивая, с выпученными глазами. Я поймал его за руку, вывернул и уронил лицом в пол. Паренек завопил, когда я сломал ему кисть и вложил в дрожащую потную ладонь прямоугольник проездного.

– Вам вынесен приговор, – говорил я неторопливо, – за совершенные на Земле злодеяния вы наказываетесь бесконечным сроком в Преисподней, где ваша душа будет подвергнута принудительному очищению.

Я оттолкнул паренька ногой, и тот уполз в угол, к крайним дверям, вжался в сиденья, постанывая и держа сломанную руку.

Иногда ненавижу свою работу. Сам себя чувствую потерянным среди этих... потерявшихся.

– Теперь вы, – сказал я, поворачиваясь к человеку в дорогом костюме. Кажется, его звали Влад.

Человек никого в своей жизни не убил. Он любил унижать. Всех вокруг. Детей и женщин. Коллег по работе и проституток. Официантов. Продавцов. Таксистов. Он пользовался властью, как средством для унижения, и получал от своих действий физическое наслаждение. Душа его сгнила. Подозреваю, что это и был его самый главный грех.

Человек молча протянул руку.

– Я могу рассчитывать на более мягкое наказание? – холодно спросил он. В его глазах плескался страх.

Я покачал головой:

– Если бы вы вовремя одумались, то не оказались бы здесь.

– И что меня ждет?

Я неопределенно пожал плечами:

– Сначала вам придется очиститься, а потом – кто знает? За пределы кольцевой я не заглядывал.

– Вы думаете, это справедливо?

– Я думаю, что любое преступление требует наказания.

В этот момент поезд стал тормозить. Я ухватился за перекладину.

Влад пытался сохранить чувство собственного достоинства, убрал руки в карманы пиджака и разглядывал носки отполированных ботинок.

Остановка.

Двери распахнулись и в вагон хлынула чернота. Она сформировалась силуэтами людей, когда-то давно тоже зашедших в метро и не вернувшихся обратно. Беспросветно черный людской поток – дети, подростки, мужчины и женщины – со сверкающими огоньками душ. Чернота подмяла под себя паренька, закружила его. Паренек пытался сопротивляться, но черные силуэты тащили, вдавливали его в желтую стенку вагона. Паренек заорал от боли. Силуэты столпились так плотно, как бывает в самый час пик на любой кольцевой станции. Крик оборвался на высокой ноте, и следом за ним раздался чавкающий и трескучий звук. Так высвобождалась душа.

А чернота пребывала, наплывала волнами торопливых силуэтов.

Я повернулся к представительному мужчине. Он побледнел. Челюсть его дрожала.

– Я не хочу так... Я не готов... За что? Что я такого сделал?

Я чувствовал, как теплая чернота огибает меня, как мимо скользят вечные силуэты пассажиров метро. Они накинулись на мужчину со всех сторон, сжали его, повалили на пол, захлестнули, зажали.

И тут человек начал кричать.

Я поправил лямку рюкзака. Завтра мне снова надо будет спускаться в метро. Я снова буду разносить обязательный сверток с едой. Вступать в диалоги. Слушать жалобы и причитания. Равнодушно отвечать заученными фразами. Потом я возьму очередные проездные, которые стопками выдают на судебных заседаниях, и пройду по вечерним вагонам, вынося приговоры.

«Изоляция заканчивается, – буду говорить я. – Время чистить души».

Чернота обтекала меня со всех сторон.

А человек все кричал и кричал.

Дрессировка

Наблюдая, как вода медленно заливает нижние палубы, Фелиция Монрей мелкими глотками пила теплый оранжад и думала, что следовало бы поехать поездом, автомобилем, нанять дирижабль, в конце концов. Где угодно больше шансов сбежать, чем посреди открытого моря, и было ошибкой думать, что океанический лайнер догнать сложнее...

Впрочем, нет. Ошибку она совершила раньше – когда решила, что Ремус ей по зубам. Теперь об этом и помыслить смешно, а тогда...

...Тогда Фелиция решила, что у нее есть шанс.

Нужно было только хорошенько рассчитать, по уму, а уж если чем и могли похвастаться Монрей, то мозгами. Пожалуй, все, кроме основателя рода – того, кто заключил с Ремусом контракт, ну да что поделывать, в семье не без урода. Фелиция глупой не была – разве что самоуверенной, но кто к шестнадцати годам успевает научиться осторожности?

А ситуация складывалась идеальная. Полезные знакомства весь год сыпались как из рога изобилия. Мистер Сиддл, такой же невезучий и вечно прозябающий в долгах, как и большинство изобретателей; экзальтированная Лора Чимни, вложившая почти сорок тысяч в конструирование дирижаблей с дюралевой обшивкой; жених Лоры, так удачно проигравший крупную сумму на скачках; скромный клерк страховой компании по имени Томас Найс, мечтающий о карьере скрипача в Национальном оркестре... Когда новым поклонником рано овдовевшей тетушки Грейс оказался сам Эдвард Стерлинг, меценат, покровительствующий Музыкальной академии, Фелиция решила, что это – судьба.

Свести Сиддла и Лору; насладившись отчаянием жениха, намекнуть ему на возможность повернуть маленькую спасительную авантюру; замолвить перед Стерлингом словечко за Томми Найса, а взамен попросить о небольшой услуге – оформлении крупной страховки на еще не сконструированный «новый дирижабль Чимни-Сиддла»; лично внести в чертежи одну незаметную, но очень опасную поправку...

Конечно, Лора пригласила на испытания свою добрую подругу мисс Монрей. И ничего удивительного в том, мисс Монрей взяла с собой бессменного и верного слугу, доставшегося ей по наследству еще от отца. А когда фотографа внезапно скрутило за четверть часа до испытательного полета, мисс Монрей щедро предложила, спасая положение:

– Пусть Ремус полетит вместо него. Он не боится высоты и умеет фотографировать. Верно?

– Нет ничего, что было бы мне не под силу, – последовал ответ.

О, разумеется, она это знала. Именно поэтому и выбрала дирижабль – с ружьем или ядом было бы проще, но без всякой гарантии.

«Чимни-Сиддл» разорвало примерно на высоте в полторы мили. Фелиция устроила форменную истерику, рыдая на плече у Лоры по безвременно погибшему Ремусу, а потом взяла кэб и уехала на аэровокзал. В сумочке у нее лежал спрятанный между страниц «Толкователя сновидений» билет на пассажирский дирижабль в Старый Свет.

Утро Фелиция встретила в Брестоне. На завтрак в кофейне она попросила тосты с апельсиновым джемом, черный кофе и свежую газету. Не без интереса прочитав о вероятном крахе известной страховой компании, растущих ценах на газولين и благотворительном аукционе в Гран-Лемане, Фелиция углубилась в двухстраничный репортаж о крушении экспериментальной модели дирижабля под Корнуоллом. Репортер в чудовищно преувеличенных красках расписывал клубы дыма, воронку на месте падения и четыре обгоревших до неузнаваемости тела.

Четыре.

Фелиция закрыла газету дрожащими руками и попросила счет.

Ремус должен был оказаться пятым.

– Мсье, – тепло улыбнулась она официанту из-под густой вуали, вручая более чем щедрые чаевые. – Вы не подскажете, когда отходит ближайший поезд?

Мальчишка ничуть не смутился – наверняка подобные вопросы в кофейне у самого вокзала он слышал едва ли не каждый день.

– В девять, потом в половину десятого... А куда вам нужно?

– Куда-нибудь.

– Убегаете от нелюбимого жениха? – нахально подмигнул официант, смекнув, что жаловаться на чересчур вольное поведение странная леди не станет.

– Ах, если бы...

Кофейню Фелиция покидала в неприличной спешке. Желто-карие глаза мальчишки слишком напоминали о Ремусе.

После Брестона и «Континентального экспресса» был шумный портовый Ардо, дешевая парикмахерская и мужской костюм цвета горчицы, фетровая шляпа и сомнительная гостиница на аллее Художников. С ледяным спокойствием Фелиция наутро поинтересовалась у портье, где можно купить небольшой и нетяжелый револьвер. Ей задали всего один вопрос:

– Умеет ли мсье стрелять?

– О, да, – кивнула она. – Мсье умеет.

Револьвер принесли через два часа, и стоил он четверть ее сбережений. В коробке, обернутой шелестящей розовой бумагой, лежала одна лимонная роза с красноватой каемкой по лепесткам – свежая, словно только что срезанная в саду глуповатой, доброй тетушки Грейс, помешанной на редких сортах. У Фелиции хватило выдержки не спрашивать, как и у кого портье достал оружие. Она расплатилась, наняла автомобиль до вокзала, а там купила билеты на три поезда, отходящих почти одновременно, и до последнего бродила от одного к другому, поглядывая по сторонам.

Страх гнал её дальше.

Потом была знойная Рома, ночное кружение по городу, узкие темные улочки, запах мусора и близкой погони. Фелиция потратила четыре пули из двадцати, чтобы отбиться от темпераментных ромейцев не самой благородной профессии, нюхом почуявших, что за мужской одеждой прячется юная девица. Она была абсолютно уверена, что в самого нахального из них, собственно, и затеявшего травлю, выстрелила дважды – и попала, но потом на мостовой осталось только два тела.

Светловолосого жоака, говорившего с мягким, горловым акцентом, нигде не было.

Измученная и уставшая, Фелиция попросила приюта в монастыре. Грустные монахини, перевидавшие за свою жизнь не одну скрывающуюся беглянку, молча впустили ее и выделили келью. Два дня прошли в спокойствии, без кошмаров и дыхания в затылок, без шепотов по ночам и жутких теней в углах. А потом Фелиция снова не выдержала – и сорвалась. Сбежала еще до рассвета, успела на первый утренний трансконтинентальный дирижабль – и, едва сойдя на землю в прибрежной Кастовице, выкупила на последние деньги билет на отходящий вечером океанический лайнер, следующий в Новый Свет.

Где-то далеко тетушка Грейс ворковала в своем розарии с мистером Стерлингом, на тайной церемонии Лора Чимни скоропостижно превращалась в миссис Сиддл, брошенный жених отбивался от адвокатов страховой компании, а везучий фотограф благословлял столь своевременное желудочное расстройство... Фелиция Монрей не слишком-то и удивилась, когда ровно посреди круиза на борту вдруг вспыхнула эпидемия неизвестной болезни – и постепенно выкосила всех.

Кроме неё.

Кроме неё...

Вода появилась еще накануне, ночью. Она прибывала отовсюду и до неправдоподобного равномерно. Обнаружив, что машинное отделение затоплено, Фелиция только вздохнула, забрала из каюты револьвер, одеяло и отправилась в рубку – спать. Утром перетасила на мостик судовой дневник, забрав его из рук мертвого капитана, кувшин оранжада, переоделась в платье и принялась ждать, коротая время за чтением и созерцанием неотвратимой катастрофы.

Ремус не заставил ждать себя слишком долго.

– Не стоит пить кислое натошак, мисс Монрей. Испортите себе желудок.

– Еда уже несвежая, – пожала плечами Фелиция и взвела курок под столом. – А готовить я не умею.

– И не нужно, пока у вас есть я, мисс Монрей. Желаете отбивную по-бастрийски? Или омлет с рисом по-восточному?

Солнце гуляло где-то за плотными облаками, вздыбливались свинцовые волны, мешаясь со свинцовым небом, но даже сейчас казалось, что Ремус светится изнутри. Светлые волосы, прозрачные глаза, тонкие запястья...

Наверно, они с Фелицией напоминали близнецов. Особенно теперь, когда у нее была короткая мужская стрижка и улыбка утомленного сфинкса.

– ...и все-таки, Ремус, я не могу понять, когда ты успел сбежать с того дирижабля.

– Я не сбегал, мисс Монрей. – Море начало задираться вверх, Фелицию вдавило в кресло, и она поняла, что лайнер кренится и затонет совсем скоро. – Ваш сюрприз действительно стал для меня... сюрпризом. Так изощренно меня еще не предавали.

Фелиция переложила револьвер из руки в руку и вытерла влажную ладонь об юбки.

– Вероятно, мой отец...

– Ваш отец, мисс Монрей, пал жертвой собственной трагической неосторожности, – испустил долгий вздох Ремус и разгладил и без того безупречные манжеты. – Могу я поинтересоваться, почему вы решили от меня избавиться?

– Заявление об увольнении ты писать отказался, – пожала плечами Фелиция. – А ведь я просила.

– Контракт все еще не исполнен.

– Да в чем он хотя бы состоит, этот контракт?! – Фелиция повысила голос, на мгновение потеряв самообладание, но тут же досадливо прикусила губу – и успокоилась. – Снова не скажешь?

– Сожалею, мисс Монрей. Нет.

Фелиция подавила глупый смешок и взглянула Ремусу в глаза.

– Вот поэтому я и выбрала дирижабль. Не знаю, о чем думал мой недалновидный предок, но так или иначе расплачиваться за его капризы я не желаю. Моя жизнь – это только моя жизнь, Ремус.

– Что ж, разумно, мисс Монрей... Ах, револьвер – как трогательно. Попробуете меня застрелить?

Он рассмеялся. А Фелиция уже не сидела в кресле – лежала. Кувшин с оранжадом съехал до края стола, упал и разбился. В недрах лайнера что-то натужно трещало и грохотало, а от запаха соли и йода щипало в горле.

– Не тебя, – хмыкнула она.

И приставила револьвер к своему виску.

В этот момент в стекла рубки упрямо ткнулась вода – и выдавила их с голодным утробным хрустом. Фелиция отвлеклась всего на секунду, а потом вдруг в руке у нее вместо револьвера оказалась жирная черная змея – и вцепилась в запястье.

«Даже уйти по-своему не позволил».

Падая в воду, Фелиция почти ничего не чувствовала.

Много, много позже, в Монрей-меноре, укрывая спящую Фелицию одеялом, Ремус размышлял о том, что можно будет наутро сказать – и что нельзя.

«Это всего лишь ночной кошмар, мисс Монрей» – вряд ли Фелиция проглотит такую ложь или смирится.

Он отвел с ее лица мокрую прядь волос.

– Хозяев тоже нужно воспитывать, – произнес тихо, и веки у Фелиции дрогнули во сне. – Надеюсь, это сойдет за оправдание?

Она отмахнулась от него, не просыпаясь, и зарылась в одеяла.

– Надо же... навевает воспоминания.

Ремус присел на край постели и поднял взгляд на портрет Раймонда Монрея над камином – основателя рода и, по мнению Фелиции, полного идиота. Вот кто знал толк в дрессировке...

...Выгоревшая до черноты земля, человеческие крики где-то далеко и густой запах дыма – это и есть лицо войны.

– Соглашайся, Ремус. По-моему, неплохая сделка – тебе просто надо будет приглядывать за моим сыном... Некоторое время. И за его сыном тоже. Чего тебе стоит, с твоими-то возможностями?

Он улыбается так, что непонятно, кто кого должен искушать.

– А что я за это получу?

– Ты? Хм... Пожалуй, избавление от скуки. На веки вечные.

3

Зависть: Эрида



Богиня раздора с помощью одного только яблока посеяла зависть между богами и ввергла людей в пучину Троянской войны.

Искушение

1

Наверное, в жизни выпадает шанс на миллион встретить человека, о котором недавно думал и которого совершенно не ожидал увидеть.

Это был Волька, одноклассник. Общались с ним в последний раз лет пятнадцать назад. С тех пор не находили времени ни поискать друг друга в сети, ни созвониться, ни попробовать встретиться где-нибудь в громадной Москве, выпить кофе за беседой и воспоминаниями.

Судьба свела нас в Греции.

Мы с Марго сидели на открытой веранде на шестом этаже отеля, пили кофе и наслаждались теплом утреннего солнца. Кругом сновали официанты, подносили свежие хрустящие газеты, угощали пирожными и тостами с джемом. Я сжимал ладонь Марго, водил большим пальцем по золотому кольцу на ее безымянном пальце, ощущал контрастирующий холод кожи и теплоту металла.

– Фокусник? – спросил кто-то из-за спины.

Я обернулся и увидел Вольку. Постаревшего, располневшего, облысевшего Вольку. Кто еще мог вспомнить мое школьное прозвище? Только лучший приятель!

Он полез обниматься, пододвинул стул, уселся за наш столик и щелкнул пальцами, подзывая официанта.

От Вольки несло кислым перегаром. Под глазами набухли темные круги. Кожа шелушилась и была покрыта сотнями (а то и тысячами) мелких красных прыщиков, будто Волька переживал очередной подростковый кризис. Одет он был в майку с грубо обрезанными рукавами и в трико. На ногах тапочки. Ногти на руках – я заметил сразу – не стрижены и заляпаны пятнышками краски.

– Охренеть! – сказал Волька. – Вот не думал! Живешь тут? Отдыхаешь? Познакомишь с дамой?

Голос у него был хриплый и басовитый, как у большинства полных людей. Волька бесцеремонно достал откуда-то сигарету и коробок спичек с содранной этикеткой, прикурил. Официант поднес ему чашку с кофе.

– Все верно, отдыхаем, – сказал я, не в силах оторвать взгляда от капель краски на ногтях. – Маргарита, моя супруга. Прошу любить и жаловать. Марго, дорогая, это Волька, школьный друг. Мы с ним были не разлей вода. Я тебе недавно рассказывал, помнишь? Прекрасный художник.

– Ваш муж, сударыня, мне очень помог в прошлом, – сказал Волька, пуская дым носом. – Это самое, слов нет, как я рад тебя видеть!

– И я тебя, дружище! Совпало-то как! Греция, пять звезд... а?

– Не верю в совпадения, – сказал Волька. – Взрослые же люди. Давай считать, что мы всю жизнь к этому стремились! Фокусник, ты совсем не изменился! Разве что морщины эти твои вокруг глаз. Чего не убрал? Ты же, это самое, можешь.

– Ну, положим, ты тоже не помолодел. Где волосы-то потерял? Всего пятнадцать лет прошло! Локоны были, как у девчонки. Марго, представь, у него волосы были до плеч и такие бело-желтые, кучерявые. Солнечный мальчик. Так называли, да? Кто-то такое прозвище тебе дал, уже и не помню...

Слова неслись бурным потоком, как это обычно бывает, когда встречаешься с прошлым. Я бы с радостью поведал множество историй о нас с Волькой, но Маргарита – милая моя Марго – была не слишком настроена на беседу. Это я определил по поджатым губам, немигающему

взгляду и слегка склоненной голове. Я взял ее за руку, прикоснулся губами к влажной холодной коже, поцеловал переплетение вздувшихся старческих вен.

– Милая, – шепнул, – разрешишь поболтать со старым приятелем?

С властными и богатыми женщинами только так. Покорно и робко.

– Я закажу завтрак в номер, – сухо сказала Марго, кивнула Вольке и удалилась, не допив кофе.

Газета ее, оставшаяся на столике, шевелилась от легкого теплого ветра.

– Я чего-то о тебе не знаю? – усмехнулся Волька, кивая на удаляющуюся фигуру. – Ты же не серьезно? У вас разница лет в тридцать, не меньше. В альфонсы заделался?

– Любовь, она такая, – ответил я. – Сам-то женат? Кольца не вижу.

Волька постучал себя по лысине указательным пальцем:

– Не мое это. Другие дела есть, знаешь ли. Вещи, которые не отпускают.

Я спросил:

– С каких пор ты начал пить по утрам?

– С тех самых, как понял, что это отлично поднимает настроение, – усмехнулся Волька. Зубы у него были желтые и неровные. – Тебе тоже советую. Успокаивает.

А я подумал вдруг, что как-то не вписывается Волькин образ в пятизвездочный отель в Греции. Ему бы с такой внешностью и одеждой маляром где-нибудь работать в Чертаново.

Волька – несомненно постаревший – при этом будто вынырнул из прошлой жизни. Из той, где мы носили одинаковые дешевые брюки и куртки, вешали на рюкзаки значки, пили пиво за школой, прикуривали первые сигареты и, конечно, обсуждали, кто какую девочку закадрил, кто с кем целовался, кто что успел пощупать или подглядеть. Он был Солнечным мальчиком, а я Фокусником. Школьные прозвища прилипчивы.

Тот мир остался в прошлом, замкнутый со всех сторон воспоминаниями, и появление Вольки никак не вязалось со всем тем, что я пережил за последние пятнадцать лет.

– Пиво будешь? – спросил Волька. – Холодное, свежее. Я тут все сорта знаю.

Его маленькие глазки, окруженные набухшими гнойничками, вперились в меня. А мне, если честно, перехотелось общаться с лучшим другом из детства.

– Я мало пью, и тебе бы...

– Посмотри на мой живот, – перебил Волька. – Поздно завязывать, понимаешь? Тридцать пять лет на носу. Это ж почти старость!

– Сейчас и до семидесяти живут без проблем.

– Ага. Тетки с малолетними мужьями, мать итить. Нет, товарищ Фокусник, мне до семидесяти никак. С такой жизнью загнусь к полтиннику, только меня и видели.

Я поднялся, посмотрел на робкие белые облака, тянувшиеся вдоль горизонта.

– Пожалуй, мне пора. Извини.

– Не извиняйся, – перебил Волька, вновь стряхивая пепел. – Я все понимаю. Думал, мы с тобой, как и раньше, по-братски пообщаемся, слово за слово. У нас, это самое, секретов не было. Баб же всегда обсуждали. У какой жопа маленькая, у какой сиськи торчат. Ну, я и... в общем, забудь. Кто прошлое помянет, тому глаз вон.

– Давай позже увидимся. Ты же здесь где-то?..

– Если что, ищи меня у, этих, горячительных напитков.

Я оставил его за столиком с недопитыми чашками кофе, развернутыми газетами и сигаретным пеплом на белоснежной скатерти. Казалось, Волька смотрит мне в спину, но я не хотел поворачиваться.

Прошлое захлестнуло, выбив из комфортного настоящего. А я торопился вернуться обратно.

Волька стал мне лучшим другом в девятом классе. Мы начали тесно общаться, когда подготавливали сценки для школьного КВН. Волька отлично рисовал, а я готовил фокус, который открывал программу школьного выпускного. Мне нужно было нарисовать ширму – что-нибудь таинственное, с яркой надписью и призраками. После школы я догнал Вольку по дороге к остановке и спросил, сможет ли он мне помочь.

– Что взамен? – спросил Волька, лениво жуя зубочистку.

До этого момента мы были знакомы поверхностно, потому что учились в разных классах. Знали, разве что, по прозвищам. Солнечный мальчик и правда выглядел солнечно – золотистые кудри ложились на плечи и закрывали лоб. Прозвище казалось насмешкой – уже тогда он был далеко не красавцем. Волька постоянно потел, его лоб был усеян крупными гнойными прыщами, а жировая складка под подбородком больше всего походила на рыхлую старую губку.

Я заранее придумал ответ. Мне было что предложить.

– Держи, – протянул Вольке маленькую баночку, в каких обычно продавали детское питание. – Это отличный крем. Натри лоб на ночь, завтра с утра посмотри в зеркало. Гарантирую, что ты прилетишь ко мне на первой же перемене.

Он прилетел еще раньше – до первого урока! Лоб у него блестел от пота, но прыщи заметно поредели. Волька схватил меня под локоть, потащил на лестничный пролет, где, зажав у батареи, взволнованно затараторил:

– Ты, это самое, что сделал? Как это вообще? Круто же! За одну ночь, блин! Это ж один мазок. А там крема твоего еще недели на две, да?

– Все забирай, – сказал я. – Только ширму мне нарисуй, пожалуйста. У меня в этом деле руки из одного места растут.

– Я тебе сто ширм за такие дела нарисую! – Волька тряс белыми с желтым отливом кудрями, не в силах подобрать нужные слова. – Если ты мне еще тюбиков дашь, я даже, это самое, фокус за тебя покажу, во!

Конечно, я не дал бы ему показать за меня фокус на выпускном.

Потом я подарил Вольке еще три тюбика. Крем назывался «Молодость», и он был одним из четырех волшебных кремов, которые я умел готовить.

Первый крем я сделал самостоятельно, наткнувшись на статью в мамином журнале. Хорошо помню женское лицо крупным планом. Вместо глаз лежали дольки огурцов. Я долго всматривался в эти дольки, пытаюсь понять, лежит ли женщина с закрытыми глазами или смотрит на меня сквозь зеленоватую мякоть.

Мама была помешана на кремах. Она отчаянно хотела вернуть ускользающую молодость. Я был поздним ребенком, мама родила меня в тридцать шесть, потом развелась с отцом, и в пятьдесят один год все еще находилась в так называемом активном поиске. Поэтому огуречные дольки на ее глазах были явлением обычным.

В общем, я взял журнал и занялся приготовлением крема, когда мамы не было дома.

Рецепт прост: миндальное масло, зеленый чай, экстракт ромашки, эфирное масло и стеариновая кислота. Из всего этого я не нашел только кислоты. И вот тут случилось волшебство. То есть то, что я называю волшебством. На самом деле это было озарение. Интуиция. Предчувствие, если хотите. Я взял две свечки и растопил их в ковшике. Влил в получившуюся массу жиры и добавил еще кое-что – интуитивно и совершенно бесконтрольно. Моими руками будто кто-то управлял. Нужные мысли выскакивали из головы. Я чувствовал себя марионеткой в руках опытного кукловода.

Варка в двух сосудах, смешивание, охлаждение. Когда пластиковый контейнер с кремом оказался в холодильнике, я рухнул на диван и провалялся так до самого вечера. Силы покинули меня, вдохновение прошло, невидимый кукловод перерезал ниточки и удалился. В голове

царила форменная каша. Но я точно знал, что сделал именно такой крем, какой хотел. То есть, лучший в своем роде. Волшебный.

Когда домой пришла мама, я показал крем ей. Попросил, чтобы она втерла немного в морщинки вокруг глаз.

Мама сказала, что крем пахнет так, будто его можно есть. Она втирала крем в ванной, а я стоял в коридоре и ждал, когда же мама выйдет и начнет меня хвалить. Вместо этого мама выскочила из ванной, схватила меня за плечи и принялась трясти. Я заметил, что морщин вокруг глаз у нее больше не было. Кожа казалась молодой и здоровой.

– Ты где это взял?! – кричала мама. – Ты откуда такое притащил? Что это? Как это получилось, я тебя спрашиваю?

Она отшвырнула меня, заскочила в ванную и плотно закрыла дверь. А я вжался в угол между входной дверью и стеной и неожиданно заплакал. Мне стало страшно. Показалось, что это крем превратил маму в злое непонятное существо.

Мама вышла – крем лежал на ее лице густым жирным слоем – и сказала спокойнее:

– Мне надо знать, где ты раздобыл это! Если крем так на всех работает, то это же... понимаешь... это просто удивительно!

Конечно, я соврал. Выдумал какую-то девочку в школе, которая раздавала крема на перемене. Из какого класса не помню. Возраст тоже непонятен. Если увижу ее, то обязательно позвоню маме. Мне резко расхотелось делать крем еще раз. Все это время я видел в маминых глазах огоньки безумия. А сам ужасно испугался.

Стоит ли говорить, что мама ходила с безумным взглядом еще почти неделю. Каждый раз, возвращаясь с работы, она втирала в лицо и ладони крем, а затем часами стояла перед зеркалом, наслаждаясь помолодевшим лет на десять отражением. Остатки крема она втерла во все тело и ходила по квартире обнаженной, не обращая на меня внимания. Я, стыдливо краснея, бросал взгляды на ее подтянутую попку, острые красивые груди, плоский живот... но парадоксальным образом гордился проделанной работой. Я отдавал отчет в том, что могу сделать такой крем, когда захочу. И ничто меня не остановит.

После того, как я дал первый тюбик Вольке в обмен на рисунок, он прозвал меня Фокусником. Только Волька знал, что дело было не в сценке на открытии выпускного, а в стремительно исчезающих прыщах на его лице.

Волька нарисовал мне замечательную ширму. С нее на зрителей тарасились призраки, будто бы вылезавшие из голубоватого тумана. Издалека казалось, что призраки ищут глазами конкретного человека, и что, как только найдут, выберутся за пределы ткани, спадают и утащат его в свой мир. Это было действительно страшно, хотя и не имело к сути фокуса никакого отношения.

Летом, с наступлением каникул, Волька выпросил у меня эту ширму и продал ее кому-то за небольшие деньги. На них мы купили пива, сигарет и шоколадок.

– Я могу продавать твой крем, – сказал тогда Волька. – Заработаем, а? Красиво жить не запретишь!

– Если бы все было так просто. Это же вдохновение. – Я вкратце рассказал ему о том, какие эмоции испытываю при приготовлении крема.

– У меня то же самое, брат! – Воскликнул Волька, впиваясь пятерней в копну волос. – Не поверишь! Когда рисую. Не всегда, но случается. Особенно когда этих твоих призраков рисовал! Такое ощущение, что моими руками кто-то управляет. Именно поэтому призраки и вышли такими живыми. Мне иногда казалось, это самое, что они реально выберутся наружу. За нами.

Мне стало не по себе. Мой-то крем был волшебный. То есть, он и правду обладал какими-то необыкновенными свойствами. А если допустить, что Волькины рисунки тоже несли некое волшебство, то, стало быть, его призраки и правда могли выбраться?

– Надеюсь, ты продал ширму достойным людям.

Волька усмехнулся, глотнул холодного пива (что на жаре было особенно к месту). Сказал:

– Может быть, они и правда того достойны.

Я вернулся в номер, не переставая думать о прошлом. Окунулся в прохладу, нагоняемую кондиционером, осмотрел огромный дорогой номер. На кровати, поверх золотистого одеяла, лежала Марго. Она была обнажена. Притворялась, будто дремлет. Ее любимая игра: ждать, пока я подойду сзади и положу руки ей на талию. Тогда она, быть может, проснется. Или шепнет одними губами: «Возьми меня так!»

И мне приходилось ее брать.

Сейчас же, разглядывая старое морщинистое тело с вздувшимися черными венами на ногах и с желтой кожей, седые редкие волосы (парик валялся тут же, на пороге), потрескавшиеся пятки, складки кожи по бокам и на ягодицах, я подумал, что именно такой видел маму в последний раз.

Она умерла четыре года назад, но я в мельчайших деталях запомнил последние минуты ее жизни.

А еще вспомнил, как она трясла меня, сразу после выпускного – так сильно, что что-то болезненно хрустнуло в шее – пытаюсь выпытать, у кого я взял этот проклятый крем. Морщинки вернулись на ее лицо, кожа на руках обвисла, а мешки под глазами сделались темно-сливового цвета. Мама кричала:

– Ты же знаешь! Ты все прекрасно знаешь! Просто ты меня ненавидишь, да? Потому что мы развелись! Потому что мы...

Я правда ее ненавидел. Из-за папы, который был хорошим человеком, но слишком слабохарактерным.

После того случая мы с ней прожили одиннадцать долгих лет. Я был рядом, когда мама состарилась окончательно, превратилась в ходячий желтушный скелет. Ее вставная челюсть постоянно выпадала. Время от времени я натирал маму кремом. Всю ее дряблую кожу. Это был второй волшебный крем. Он разглаживал морщины и заживлял мелкие раны. Мне было интересно, как долго мама сможет прожить в оболочке из нестареющей кожи. Внутри нее все сгниет, а кожа останется упругой и эластичной. Я, конечно, не смог добиться такого эффекта, чтобы мама помолодела на двадцать или тридцать лет. Но мне удалось сделать так, чтобы на последних фотографиях в семьдесят два года она смотрелась примерно также, как и в пятьдесят.

Мама замечала изменения, но уже была не в силах взять меня за плечи и вытрясти секрет омоложения. Ей оставалось только ворчать что-то о бывшем муже, нерадивом сыне и о том, что в этом мире ее больше никто не любит.

И вот я смотрел на Маргариту и мне казалось, что она сейчас тоже повернется и скажет что-нибудь в таком же духе. Например, какой у нее плохой сын. У нее правда где-то был сын. Главный управляющий крупной нефтяной компании. Маргарита нечасто о нем вспоминала, но его лицо попадалось мне на обложках журналов вроде Forbes.

Я присел на край кровати и положил ладонь на морщинистую, обвислую ягодицу. Ощущения, будто под рукой желе из холодильника.

Марго шевельнулась. Я не сводил глаз со складок кожи на спине, в которых скопились капельки пота.

– Возьми меня так, – прошептала Маргарита хриловатым, треснувшим голосом.

Мне пришлось ее взять. Быстро, бестолково и яростно. Наверное, Маргарита решила, что это такой вид сексуальной игры. На самом деле мне просто было противно.

2

На каникулах между девятым и десятым классами мы с Волькой остались в городе.

Мы могли целыми днями гулять по полупустым улицам, загорать у фонтанов на центральной площади, валяться на газонах в парках. Одним словом, бездельничали, как могли.

Как-то раз мы забрались в подвал многоэтажного дома и бродили среди переплетений гигантских труб, которые дышали едкими влажными испарениями. Под ногами клубился дым. Мигали красным редкие лампочки. Будто мы оказались в лабиринте из которого никогда не выберемся.

Волька нашел выступ, подтянулся и забрался на одну из больших теплых труб под самый потолок. Я последовал его примеру. Мы уселись на мягкую стекловату, свесив ноги. Где-то журчала вода. В полумраке легко было представить себе, что где-то здесь бродит, скажем, Минотавр, разыскивающий малолетних любителей приключений.

Волька сказал:

– Мне кажется, что у каждого человека есть такие способности. Ну, знаешь, как у тебя с кремом. То, что человек может делать лучше всего. Вроде дара.

– Как в фильмах? – усмехнулся я.

– Но ты ведь не отрицаешь, что тобой кто-то вроде бы руководит. Как кукловод? Это и есть дар. Я вот чувствовал несколько раз, что так и было. Невидимая сила брала мои руки и рисовала вместо меня. Как будто кто-то присоединил невидимые ниточки к пальцам. Представь!

Волька показал, как он рисует будто бы с нитками на пальцах. Выходило немного страшновато.

– Знаешь, что, – я спрыгнул с трубы. – Пойдем-ка отсюда. Воняет и холодно.

– Испугался, что ли?

– Если бы. На солнце хочу, согреться. Лето на дворе, а мы сидим в этой тухлятине. Тебе чушь в голову потому и лезет, что по подвалам шляешься.

– Кто бы говорил, – заворчал Волька, но с трубы слез и отправился за мной к выходу из подвала.

Уже под ярким июньским солнцем, когда мы оказались на крыльце старого ДК, я уселся на бетонную щербатую ступеньку и сказал:

– Может быть ты и прав. У нас где-то в глубине есть тумблер, который проворачивается в нужном месте и позволяет делать разные уникальные вещи. Дар. Или гениальность. Я не знаю. Освобождает этого невидимого кукловода и дает ему какую-то силу, чтобы нами управлять. Как он работает, я не знаю. Но иногда чувствую, как что-то в груди проворачивается. Без моего ведома.

Волька взял веточку и нарисовал на мокром песке несколько размашистых линий. Чудесным образом они сложились и превратились в узнаваемое лицо.

– Похож? – усмехнулся Волька. – Это директор наш. Дружеский шарж, так сказать. Вот если в него вдохнуть жизнь, повернуть этот твой тумблер, то директор живенько купит портрет за любые деньги. Я к этому и веду. Надо зарабатывать. На велосипед, на хлеб с маслом, на нормальную и светлую жизнь, да? Ты со мной или как?

– А я-то что буду делать?

– Как это что? У директора есть жена. Ей точно нужен хороший крем. Такой, чтобы морщины разглаживал, я не знаю, в нужных местах. Женщина не молодая, красоту бережет, понимаешь?

В этот момент я вспомнил о маме. Она тоже старалась уберечь красоту.

– Наверное идея хорошая. Я подумаю.

– Что тут думать? Действовать надо. Пока лето, заготовим материал. А как начнется школа, тут же и займемся. У нас, брат, в клиентах полгорода ходить будет!

Волька принялся рисовать веткой на песке другие узнаваемые лица. Вскоре у ступенек ДК выстроились цепочкой все преподаватели старших классов, включая завуча и секретаря школы.

– Вот они где, деньжищи-то! – говорил Волька. – Вот на чем можно разбогатеть!

Я думаю, рано или поздно он смог бы меня уговорить. Мы бы, наверное, даже что-нибудь заработали. Хотя по прошествии пятнадцати лет я понимаю, насколько детским и наивным был первый Волькин бизнес-план. Но история пошла другим путем.

Невидимые кукловоды дернули за нужные им ниточки.

Волька пришел рано утром.

Я еще не проснулся, и сквозь сон услышал, как мама говорит кому-то, что в полвосьмого утра нормальные дети никуда гулять не выходят. Потом расслышал встревоженное Волькино: «Ну, пожалуйста! Разбудите его!», поднялся с кровати и выбрался в коридор.

Волька стоял в дверях. Светлые кудри взлохмачены, на щеках пунцовые пятна, а лоб покрыт крупными каплями пота. Одет черт-те во что, будто среди ночи вытащил из шкафа первые попавшиеся вещи и решил, что пойдет.

– Мам, я уже не сплю, – буркнул я. – Пусть заходит.

Мама перевела взгляд с меня на Вольку, потом обратно. Сказала со вздохом:

– Тогда завтрак будет готов через полчаса, – и удалилась на кухню.

Мы прошли в комнату. Я свалился обратно в кровать, обхватив подушку, и сонно поинтересовался, что за срочные дела привели Вольку в такую рань.

– У меня тут проблемы, – сказал Волька. – Похоже, серьезные.

Волька сел на пол, запустил пятерню в волосы, пытаясь их пригладить.

– В общем, понимаешь, я с того нашего разговора решил делом заняться. Ждал вдохновения, ну, чтобы кукловод появился. Пару рисунков накидал, но, чувствую, не то. А потом – раз! – и поперлю. Кто-то будто за меня на ватмане набросал черновой рисунок карандашом. Знаешь, что там было? Призраки! Как на твоей ширме. Будто живые и будто наблюдают. Глазищи такие... страшные. Тянут руки с листа, хотят схватить. Мне даже не по себе стало на какое-то время. Но вот я смотрю на рисунок и понимаю, что он очень хороший. Его действительно можно продать!

– Так и в чем проблема? – пробормотал я, усиленно борясь со сном.

Волька с силой сжал прядь волос и дернул их, будто собирался вырвать с корнем. Тут только я заметил темные мешки вокруг его глаз. Белые пятнышки в уголках губ. Потрескавшиеся губы.

– У меня папа пропал, – сказал Волька негромко. – Позавчера ночью, когда я призраков нарисовал. Просто пропал из квартиры, безо всяких следов. Он лег спать вместе с мамой, а утром его уже не было. Мама слышала, как он вставал и ходил на кухню за водой. И все. Одежда на месте, ключи на месте, а папы нет.

– В милицию звонили? – я сел на кровати. Сон слетел мгновенно. – Знакомым, друзьям. Мало ли...

– Мама тоже исчезла, – продолжил Волька. – Мы позавчера не звонили, потому что мама надеялась, что это какая-то идиотская шутка. У папы есть друзья, которые могли его подговорить... В обед она пошла спать, а я рисовал в комнате. Я вообще ничего не слышал, понимаешь? Я, это самое, сидел в тишине и просто рисовал несколько часов. А потом вышел из комнаты и увидел, что комната родителей приоткрыта. Я туда заглянул – а мамы нет!

– Может быть, вышла куда-то?

– Без обуви, одежды и ключей, ага. У нас замок открывается с двух сторон ключами. Так просто не выйти. А все связки лежат на полке у двери. Никто из квартиры не выходил!

Волька шмыгнул носом.

– Это все рисунок, – сказал он. – Уверен на все сто процентов. Призраки на рисунке настоящие. Не знаю как, но я их нарисовал настоящими. Тот самый дар! Только у тебя он хороший, а у меня – плохой! А еще я видел призраков, когда искал маму. Ватман лежал на кухне на полу. Сначала он был свернут в трубочку, я его положил на диван у батареи. Но потом он упал и раскрылся. Я подошел ближе... и знаешь что? Они протягивали ко мне руки! Нарисованные карандашные руки! Прямо из бумаги! Пытались вылезти и схватить меня! Утащить к себе! Они уже утащили маму и папу, а теперь пытались добраться до меня! Я обоссался, блин! Я реально бежал из кухни в свою комнату и ссал! У меня до сих пор трусы мокрые!

Он снова шмыгнул носом.

– Я все время сидел у себя в комнате. Это очень страшно. Мне казалось, что если дверь откроется, то я просто умру от страха. Понимаешь, если они смогли без следа утащить к себе родителей, то меня утащат – и не заметят! Я сидел и думал, что делать. Как справиться. Потом подумал: надо подбежать к входной двери, схватить ключи, открыть замок и броситься прочь из квартиры. Я ночь не спал. Мне казалось, если честно, я не смогу бежать. Но я все же побежал. Как ветер, блин. Открыл дверь комнаты, рванул в коридор и вот там увидел рисунок. Этот проклятый ватман лежал на полу. Его как будто выдуло сквозняком из кухни в коридор.

– И что ты?

– Я прыгнул, – выдохнул Волька. – Мне некогда было тормозить или сворачивать. Только вперед. Не знаю, что я в тот момент думал. Я просто прыгнул. И, знаешь, что произошло? Из ватмана ко мне потянулись призраки. Они хотели меня схватить. Я почувствовал такой холод, какой не чувствовал вообще никогда! Мне по ногам будто провели ледяными лезвиями! Смотри!

Он стащил носки и продемонстрировал ступни. Пятки Волькины действительно оказались в глубоких неровных порезах с темной запекшейся кровью.

– Представляю, что бы они со мной сделали, – мрачно заметил Волька, надевая носки обратно. – Но я вроде как перепрыгнул, схватил ключи и рванул на улицу. Сразу к тебе. Я очень много о тебе думал.

– И что надумал?

Волька взял меня плечи, сказал:

– Нужно, чтобы ты приготовил крем, который уничтожит рисунок и призраков. Одно колдовство уничтожит другое. Это самый верный путь.

Я никогда не славился героизмом. Я даже дрался всего один раз, вынужденно. А тут... По спине пробежал холодок.

– Ты серьезно? Это же нам надо будет идти туда, где...

– Конечно, серьезно. Они забрали моих родителей. И наверняка заберут кого-нибудь еще. Надо их остановить. Ты же Фокусник, брат. Я верю, что ты можешь сделать крем, который растворит ватман с призраками до последнего кусочка.

– Надо будет идти туда, – повторил я, и понял, что голос дрожит. – Идти к призракам, да?

Волька потряс меня за плечи, но совсем не так, как это делала мама. Это была дружеская встряска. Он сказал:

– Мне нужна помощь. Очень нужна.

– Волька, ты понимаешь вообще, что хочешь сделать? Мы можем во что-то ввязаться, из чего вообще никогда не выберемся.

– Прекрасно понимаю, – ответил он. – Но мне кажется, что мы справимся. Ты Фокусник, у тебя есть дар, и он хороший. В смысле, положительный. А добро всегда побеждает зло.

– Ага. Либо о побежденном добре никто и никогда не вспоминает. – Не помню, где я слышал эту фразу, но она мне запомнилась надолго.

Будто в тумане я прошел на кухню, где пахло яичницей и лимоном. Мама суетилась у плиты. Я спросил, когда она пойдет на работу, а мама ответила, что уж точно не оставит голодными двух мальчишек. Тогда я сказал, что мы с Волькой позавтракаем в моей комнате, а сам пошел в спальню к маме и прихватил у нее с ночного столика последний номер женского журнала. Именно в нем я нашел новый рецепт крема.

Когда мама накормила нас и ушла на работу, я создал свой волшебный крем номер три. Рецепт из журнала, плюс некоторые изменения.

Кукловод снова принялся за дело.

Невидимые ниточки крепко перетянули пальцы. Мысли текли, неуправляемые. Внутренний тумблер провернулся, и я ощутил холодную пустоту в животе и в голове. Это был уже не я, а кукла, занимающаяся колдовством. Вуду, или что-нибудь в таком духе.

Кукловод стоял где-то за спиной, пользуясь моим даром, и что-то получал взамен. Ведь ничего не происходит просто так. Золотые монетки сыплются к ногам умелого Фокусника, если фокус сработал как надо.

Когда крем был готов, кукловод ушел. В животе громко заурчало.

Волька спросил:

– Как ты понимаешь, что сделал все правильно?

Я пожал плечами:

– Мне просто приходят в голову мысли. Я заранее знаю, что нужно добавить и в каких пропорциях. Это знания из ниоткуда.

– Как и мои призраки. Из ниоткуда.

Было страшно до чертиков. Неизвестный страх – хуже всего. Уже у подъезда я понял, что не могу заставить себя подняться на крыльцо. Замер, запустив руки в карманы шорт, поглядывал на голубое небо без облаков. В кармане нащупал прохладный флакон и крепко сжал его.

– Обещай, пожалуйста, – сказал я, – что если все пройдет, как надо, ты больше никогда не будешь рисовать ни призраков, ни кого бы то ни было еще.

– Ага, обещаю, – ответил Волька и, подумав, добавил. – Ты мне тоже самое пообещай. Про крем.

– Без проблем.

Мы вошли в подъезд и поднялись на нужный этаж. Волька долго звенел ключами, пытаясь попасть в замочную скважину. Волькины руки тряслись.

Я же достал флакон и откупорил крышку. Крем был жидкий, по консистенции напоминавший растаявшее мороженое. Я специально сделал его таким, чтобы легко можно было вылить.

Наконец, дверь открылась. Волька спрятался за моей спиной, а я, выставив перед собой флакон, шагнул в коридор. Мне вспомнился эпизод из какого-то фильма ужасов. Я представил себя священником, который пришел изгонять бесов. По сути, этим я сейчас и занимался, только без молитв и святой воды. А еще мне было всего пятнадцать лет.

Серый свет, падающий из дверей комнат, обнажил разбросанную на пороге обувь. Там же валялись бесформенная темная куртка и скомканный шарф. Сразу за первым дверным проемом, неподалеку от двери в кухню на полу лежал лист ватмана.

Мне показалось, что вокруг листа разливалось голубоватое свечение. Я моргнул. Видение исчезло. Слегка загнутые края листа шевелились от сквозняка.

Я сделал первый шаг и оказался внутри квартиры. Почему-то подумал, что Волька сейчас закроет дверь за моей спиной и сбежит. Но я чувствовал Волькино тревожное дыхание. Он был рядом.

Еще один шаг. Переступил через шарф. Дальше. Оказался напротив комнаты, хотел заглянуть, но понял, что не могу оторвать взгляда от листа ватмана, края которого, вроде бы, все отчетливей шевелились. Это был уже не сквозняк. Кто-то намеренно шевелил бумагу. Может быть, изнутри.

Цепкие пальцы впились мне в плечо. Волька шепнул:

– Я вижу их! Я, блин, их вижу!

С того места, где мы стояли, можно было разглядеть неровные карандашные штрихи. Ничего более. Но мне вдруг тоже показалось, что я встретился взглядом... с нарисованными глазами. Темными, заштрихованными... И за изгибами и линиями вдруг появилось нечто большее. Нечто живое.

Нарисованные глаза, быть может, уже давно меня заметили и только и ждали момента, когда я подойду ближе. Разглядывали.

Ноги сделались ватными. Колкий страх щелкнул в коленке. Я вздохнул до одури сильно, так, что потемнело в глазах, плеснул кремом на ватман, а потом швырнул флакон об пол, потому что судорожно затряслись руки. Волька схватил меня за плечо и пронзительно тонко завопил:

– Бежим отсюда! Бежим!

Бумага растворялась, рассыпаясь по линолеуму черным пеплом. Мне снова показалось, что я вижу голубоватое свечение, но стоило моргнуть – и оно исчезло.

Я попятился, не в силах совладать с собственным телом, запнулся обо что-то и едва не упал – Волька подхватил меня подмышки и вытащил прочь из квартиры в серость и прохладу лестничного пролета. Он захлопнул дверь, провернул ключ, мы бросились вниз по лестнице, вон из дома, скорее, скорее на улицу, из подъезда, через двор, мимо детской площадки, к серой трехэтажной школе, где у пристройки бассейна всегда собирались в укрытии старшеклассники и курили. Только там остановились, тяжело переводя дух.

– Ты видел? Видел? – округлив глаза, выдохнул Волька. – Руки потянул! Едва не схватил!

Я честно признался, что не видел ничего. Мне только казалось, что взгляд нарисованных глаз буравит спину до сих пор. И еще сердце колотилось в груди.

Мы рухнули в траву и лежали минут, наверное, двадцать. Волька тяжело дышал, то и дело шмыгал носом и растирал виски пальцами. Потом он спросил:

– Ты слышал, как разбивается флакон? Как будто он и не разбился вовсе, а упал внутрь, в рисунок.

Я не знал, что ему ответить. Меня все еще колотило от страха. Бормотал, как заведенный:

– Никогда больше ничего не рисуй! Никогда больше... Ты обещал, слышишь? Ты обещал...

Родителей Вольки так и не нашли.

В тот же вечер я попросил маму вызвать милицию. Мы заранее придумали историю о том, что кто-то вломился в квартиру, когда Волька гулял. Я пришел к нему в гости, мы на кого-то наткнулись в коридоре и в испуге убежали. Как преступник вломился в квартиру, не оставив следов взлома и куда дел Волькиных родителей так и осталось для милиции загадкой.

Волька побывал в своей старой квартире несколько раз – всегда в присутствии взрослых. Позже он утверждал, что видел в коридоре черные ошметки бумаги и следы крема. Осколков не видел. Призраков тоже.

Вольку забрала к себе родная бабушка, квартира которой находилась в двух кварталах ближе к моему дому. Он прожил у нее до окончания школы, а затем почти сразу после выпускного решил уехать в столицу, поступать на архитектора.

Рисовать Волька бросил, как и обещал. Мы ни разу за оставшиеся два года знакомства не затрагивали темы призраков. Ускользали от разговора по обоюдному согласию. Это было

табу, старательно запрятанное в глубины памяти. Я тоже перестал варить крема, пока не настал черед напомнить матери о том, как она обошлась с отцом. Тогда пришлось нарушить обещание. Всего один раз. Немым свидетелем выступил кукловод, плотно перетянувший кончики моих пальцев невидимыми нитями и забравший мысли на то время, пока варился крем.

В последний раз мы виделись с Волькой на выпускном в одиннадцатом классе. Вдрызг пьяный Волька пытался поджечь мусорный бак. Мусор не горел, а только дымился. Волька хохотал, ругался, но попыток не оставлял. Нас отогнал от урны дворник. Волька пригрозил ему кулаком и пообещал нарисовать чудовище и подбросить рисунок дворнику под дверь.

– Оно тебя сожрет, слышишь? – орал Волька, пока я тащил его от урны. – Ну, или что-нибудь с тобой сделает! За все, что ты совершил! От него не убежать! Никогда!

На следующее утро Волька улетел в Москву. За пятнадцать лет, прошедших с тех пор, я не получил от него ни единой весточки. Только иногда по ночам мне снился узкий коридор квартиры, где на полу лежал лист ватмана и чьи-то нарисованные глаза искали меня. А, может, разглядывали и запоминали.

3

Я вышел из номера, когда стемнело.

В коридоре вдоль стен зажглись светодиодные нити, озаряющие пространство желтоватым светом. Длинная тень торопилась впереди, будто хотела оторваться и умчаться прочь от номера, из отеля, из Греции, обратно в холодную и тоскливую Москву.

На первом этаже у ресепшена я взял бутылку с минералкой и уселся на диване у дверей.

Мысли в голове крутились неприятные и дерзкие. Я ждал, когда снова увижу Вольку. Чувствовал, что он непременно должен появиться. Так и произошло. Спустя десять минут ожидания, Волька показался из паутины коридоров. Развязный, пьяный, дурно одетый, потный и раскрасневшийся от жары.

Он увидел меня издали, помахал пятерней. На ногах – носки и тапочки, шорты песочного цвета, майка на лямках оголяет загоревшие плечи и складки вокруг подмышек.

– Привет, это самое, – сказал Волька, тяжело опускаясь на диван. – Не думал, что после утреннего разговора увидимся.

– Волька, ты был прав, – сказал я негромко. – Я, мать его, долбанный альфонс.

– Что? – ухмыльнулся он.

– Альфонс. Трахаю старую тетку, чтобы забрать ее деньги. У Марго собственный бизнес. Сеть ресторанов в Москве и области. Еще два открываются в Питере. На счетах сотни тысяч евро лежат. И все это дело бесхозное. Сына она не признает, в благотворительность не верит, политикой не интересуется. Остается только копить или тратить.

– На тебя?

– На меня в том числе.

– Резкое, знаешь ли, откровение.

Волька повел меня из отеля во внутренний двор, к кафе-ресторану под открытым воздухом. Мы сели за столик в плетенные кресла. Волька заказал пива. В руках его оказалась пачка сигарет и коробок спичек без этикетки.

– Рассказывай подробнее. У нас же секретов нет, – сказал, будто не было утром неловкого диалога и будто не пролегло между нами расстояния в пятнадцать лет.

– А что рассказывать? Я почти десять лет работал официантом. Проклятый неудачник. Дважды не поступил в универ, загремел в армию, отслужил, потом то в котельной, знаешь, то электриком пытался. В итоге пошел в официанты, по знакомству. Ну и тарабанил за копейки на старость. Встретил Марго. Она пришла молодость вспомнить, напиться и покутить. А тут я. Напились вместе, а проснулся у нее в квартире. Там знаешь, какая квартира? Девять комнат,

окна на Кремль. Дворец настоящий. Я когда проснулся у нее в кровати, сразу хотел уйти, но потом лежал в полумраке и думал о том, что я ведь никогда в жизни на все это не заработаю. Так и сдохну официантом или дворником. Мне тридцатник, а я без высшего образования, без нормального опыта работы, перспектив никаких...

– И ты решил продолжить? – ухмыльнулся Волька и тряхнул головой, словно вместо блестящей лысины у него там снова вились солнечные кудри.

– Я подумал, что это, пожалуй, лучший способ пожить нормально.

– Гениальный план. И вы поженились, насколько вижу?

– Да, Два года лет назад. Сначала ухаживания, любовь-морковь. Влюбить в себя пожилую женщину чрезвычайно легко. Советую. Ну и закрутилось. Семейная жизнь, все дела. Вот прилетели в Грецию, отметить три года брака. – Я сконфуженно замолчал, обнимая пальцами холодный бокал с пивом.

Волька курил. Ладони его были в краске. Разноцветные яркие пятнышки разлетелись по загоревшей коже. Желтые, синие, зеленые.

– А ты, значит, решил снова рисовать?

– Я и не заканчивал, – ответил Волька. – В универ же поступил на архитектора, два курса проучился и понял, что не мое. Бросил, от армии откосил, бизнесом занялся. Знаешь, каким? Картины продавал. Портреты, на заказ. – Он подмигнул, ухмыльнулся недобро. – Вчера, как тебя увидел, вспомнил все. Ступеньки ДК, квартиру моих родителей, лист ватмана. Знаешь, Фокусник, я давно не ворошил прошлое. Не люблю все это дело вспоминать. Молодые были, дерзкие. А вчера, это самое, вечером пришел к себе и думал ночью о детстве.

– О призраках, – напомнил я.

– И о них тоже, о родимых. Не знаю, померещились ли или в самом деле были. Но в первую очередь, конечно, о детстве думал. Помнишь, кем мы хотели стать, а? Размышляли о волшебстве, о том, как сможем зарабатывать миллионы. К нашим ногам упадет весь мир, а мы, это самое, взберемся на вершину.

– А обещание помнишь? – спросил я. – Про кукловода? Лучше не рисковать с ним. Он же мозги стирает, волю отбирает. Или как? – От ледяного пива свело скулы. Я попросил у Вольки сигарету и хотя не курил уже много лет, сделал первую затяжку без особых проблем. Горьковатый дым, проскользнувшись в легкие, неожиданно успокоил.

– Прекрасно помню, – ответил Волька. – Пару лет в школе еще держался. Боялся, это самое, что нарисую очередных призраков и не справлюсь с ситуацией. А как в Москву перебрался – сорвался. Рисовал и рисовал, без остановки. Мы с кукловодом вроде как сдружились. Он мне тумблер в душе проворачивает, и я человеком становлюсь. Настоящим.

– Он же управляет...

– Ну и пусть. Ему-то что надо? Ниточки на пальцы набросит, и довольный. Не знаю уж, как он этот дар запускает и что с ним делает, но я чувствую, что все в порядке.

Я поерзал на стуле, собираясь с мыслями:

– Ты уверен, что все в порядке? Как-то... нездорово выглядишь. Тапочки с носками, майка твоя эта.

– Портреты, – перебил Волька. – Дорогие эксклюзивные портреты умерших людей. Выходят как живые. Многим даже кажется, что мертвые с ними разговаривают с помощью моих рисунков. Хотя я стараюсь все отрицать. Это мой бизнес. Помнишь, еще до обещания, я предлагал дело открыть? Решил без тебя, каюсь. В Москве никогда не найти близких людей. Начал сам. Открыл дар. Провернул тумблер.

– И они... эти мертвые... никого не забирают к себе?

Волька неопределенно пожал плечами:

– Может и забирают. Может, кто-то этим пользуется. Не знаю. Мне все равно. Деньги платят, капиталы растут, душа спокойна. Живу здесь девятый год и не жалуюсь, – была в его голосе какая-то легкая, едва уловимая тоска.

– Живешь здесь?

– Это мой отель, – зевнул Волька. – И еще пять по побережью, тоже мои. Вкладываю заработки, так сказать. Сейчас вот закончу портрет одного умершего шейха и отправлюсь в Россию на недельку, отдохнуть, к дальним родственникам. Сибирь, это самое, дикая природа, охота и рыбалка. Красота!

Мне никак не удавалось собраться с мыслями. Что-то в глубине души трепетало и сжималось, дергалось и разжималось.

– Значит, все отлично, – выдавил я. – Рад за тебя. Ты, это, извини, что я тут с ненужными откровениями. Мы же вроде друзья, все дела. Подумалось, что можно с тобой нормально поговорить. Вспомнить старое. Обдумать новое. Пьяные мысли, кому они нужны, кроме старых друзей?

– Без проблем, дружище, – Волька улыбнулся. – Время не властно над дружбой, знаешь? Эти пятнадцать лет можно взять – и стереть! Как будто мы подростки в десятом классе, сидим на трубах в подвале, пьем пиво и курим «Приму», а? Твои секреты – мои секреты! Ты меня один раз спас, я тебя тоже когда-нибудь спасу!

Наверное, я именно этого и ждал. Его слов.

Взял его за ладонь. Когда наши взгляды встретились, сказал:

– Волька, друг, мне надо чтобы ты спас меня прямо сейчас. В эту самую минуту. Дело в том, что я убил Марго. Это долбанную старую сумасшедшую.

Рецепт четвертого волшебного крема мне приснился.

Это случилось через год после того, как мы с Марго стали жить вместе. Мозг иногда подбрасывает идеи на счет того, как выбраться из самой безнадежной ситуации. А ситуация выглядела чудовищной.

Я рассчитывал, что проведу с Марго несколько месяцев, выужу из нее максимум денег и исчезну – ищи-свищи. На деле же выяснилось вот что: старуха была форменной параноидальной стервой.

Она контролировала все свои расходы до копейки. Сохраняла чеки и выписки, вела в нескольких программах учет. Все вокруг называли ее не иначе, как тетюшка Скрудж. Я не получал на руки ни рубля. Покупками Марго занималась самостоятельно. Я удобно влился в её табель о расходах наравне с несколькими собаками и прислужгой. Разве что должен был ее трахать вместо того, чтобы готовить ужин или стирать белье.

После свадьбы ситуация не изменилась. За исключением одного пункта. Марго не стала настаивать на брачном контракте. Однажды, когда мы лежали в кровати и я бездумно перебирал ее редкие тонкие волосы, думая о том, как хорошо было бы намотать их на кулак и резко рвануть, Марго обронила шутку о том, что с моим появлением отпала проблема с родственниками.

– Ни один маленький крысеныш их моей семьи не получит ничего, – сказала она, мечтательно. – Как бы им этого ни хотелось, я наняла самых лучших юристов, которые будут на твоей стороне. Как только я умру, они разорвут в клочья любого, кто приблизится к тебе и к моим деньгам. Отличный способ мести, не находишь?

Я не знал, что произошло у Марго с ее семьей, но подобная ситуация меня устраивала.

Осталось только дожидаться, когда Маргарита умрет.

Мне не нравилось жить с ней. Я не выносил вида ее обнаженного тела. Меня раздражали ее запах, форма носа, вставные зубы. Мне было невыносимо тошно целовать эти пересохшие и потрескавшиеся губы, дотрагиваться до холодной кожи, водить пальцами по сморщенным

соскам обвисшей груди. Я подсел на «Виагру» не хуже наркомана и научился мечтать о красивых молоденьких фотомоделях каждый раз, когда мы занимались сексом. А Марго, мать ее, любила заниматься сексом. И она не собиралась умирать.

– Я сварил крем. Впервые с того момента, как умерла мама. Мне казалось, что я больше никогда не смогу этого сделать. Мне не хотелось, ну, знаешь, будить кукловода и проворачивать тумблер. Я всегда этого боялся.

Мы с Волькой стояли в номере отеля и разглядывали то, что осталось от Марго. Я тихо, сбивчиво тараторил, ощущая, как дрожат пальцы, а воздух обжигает легкие.

– Помнишь, ты говорил, что у тебя плохой дар, а у меня хороший?.. Ничего подобного. Дар не бывает плохим или хорошим. Все зависит от того, справишься ты с кукловодом или нет. Кто за какие ниточки будет отвечать. Я не справился и нарушил обещание. Получал огромное удовольствие, когда варил для мамы омолаживающий крем. Кукловод меня одолел. Поэтому я решил, что больше никогда не возьмусь за варку крема. Не позволю внутренним демонам вырваться наружу...

Когда я замолчал, переводя дух, Волька шагнул в сторону кровати. Из рта у него торчала сигарета, и сладковатый дым табака смешивался с запахом гниющей плоти.

– Что ты с ней сделал? – спросил Волька. В голосе его скользило легкое любопытство. Или недоумение.

Я пожал плечами:

– Намазал кремом. От него кожа сжимается... не знаю... скукоживается, что ли. Смешно звучит. Знаешь, как если резко сдуть воздушный шарик. Она час назад выпила снотворного, чтобы нормально выспаться. Это у нее что-то вроде традиции после секса. Так вот я намазал Марго кремом и стоял здесь, наблюдал, как ее кожа начинает сжиматься, как она рвется, лопается, отслаивается... но я, блин, не знал, что будет столько крови! И потом еще Марго проснулась. Ненадолго. Она пыталась закричать, но не смогла открыть рта. У нее лицо напоминало натянутую маску не по размеру. Правда, кожа на лице тоже скоро лопнула. Ну и вот...

Только сейчас я подумал, что стою перед Волькой, как провинившийся школьник перед мамой, и ожидаю, втянув голову в плечи, что он начнет меня отчитывать. А я буду оправдываться – о, да! – мне надо будет придумать аргументы.

Она была слишком стара!

Из ее рта пахло гнилью!

Эта старая стерва не давал мне ни рубля!

Я хочу чувствовать себя мужчиной, в конце концов!

Это все кукловод! Он ждал, ждал много лет, чтобы провернуть тумблер!

Ты должен понимать, ведь тумблер в твоей душе уже давно с сорванной пружиной!

Всегда можно найти аргументы, не правда ли?

И вот я стоял перед Волькой, беспомощный и открытый, не понимал, почему он до сих пор не бросился вызывать полицию, не назвал меня сумасшедшим. Он просто водил безучастным взглядом по ошметкам крови, кровавым подтекам, кускам плоти, и время от времени пускал сизый дым носом. Спустя пару минут Волька сказал:

– Надо будет тут все подчистить.

– Я не знаю, что на меня нашло. Сорвался, наверное... Что?

– Убрать надо будет, говорю. Тело я беру на себя, остальным займутся местные дамочки из персонала. Тебе надо будет часа два посидеть возле бассейна. Потом вернешься в номер, прозвонишь по телефонам своей ненаглядной и, это самое, заявишь в местную полицию о пропаже.

– И ее найдут? – спросил я, чувствуя зарождающийся внутри головы странный, медный гул.

– Нет. Нечего будет искать. Пойдем.

Мы спустились на нулевой этаж, к парковке. Волька вел меня за руку, гулко шлепая по бетонному полу резиновыми тапками. Мы обогнули будку с охраной, оказались в узком проходе между бетонных плит с низким потолком. Вокруг кутались тени, света было мало. Казалось, что мы погружаемся в темноту с каждым шагом. Затем я увидел дверь без опознавательных знаков. Волька открыл ее ключом и жестом пригласил меня войти первым.

В свете редких желтых ламп я различил небольшое помещение, напоминающее гараж. На стенах – полки. Множество полок до потолка, с вертикальными металлическими перегородками. Все полки забиты свернутыми листами бумаги.

– Что это? – спросил я, понимая, что вопрос глупый и, в общем-то, бесполезный. Несложно было догадаться.

– Это, брат, кукловоды, с которыми я смог договориться, – сказал Волька. Его рука тяжело легла мне на плечо. – В каждом моем отеле есть такая комнатка. Я рисую постоянно. По два-три рисунка в день. Не считая заказов. Только так мне удастся справляться с этим проклятым даром. Не буду рисовать – из листов вылезут призраки, демоны, черти, вампиры, кракены и сожрут меня к чертовой матери с потрохами. Как когда-то давно они сделали это с моими родителями. Для моих заказчиков это всего лишь бизнес, для меня – плата за жизнь.

Я не в силах был вымолвить ни слова.

– Нарушил обещание, не скрою. Надо было жить серой, мелкой жизнью, изнывая от желания постоянно рисовать, но сдерживаться. Тогда бы мне не за что было себя винить. Признайся, ты ведь тоже хотел сварить крем. Хотя бы еще разок, да? Это как с онанизмом. Всегда хочется сделать в последний раз. Пока нет постоянной девушки, или когда в постели семидесятилетняя старуха. Разве ты закончишь когда-нибудь? Нет.

Голос его дрожал от волнения. Дрожь передалась и мне. Я невольно мотнул головой. Шепнул:

– Ты прав. Абсолютно прав. Я и сейчас хочу сварить кое-что. По рецепту номер пять. Просто так. Для себя.

Мне стало невыносимо завидно. Я видел перед собой человека, который справился с демонами. Серая и мелкая жизнь – это про меня, а не про Вольку. Он был на коне. А я превратился в тень.

– Выбирай, – сказал Волька, – на любой вкус. Каждый из тех, кто изображен на картинах, готов избавить тебя от драгоценной, но, увы, мертвой жены. Без следа. А затем я заберу лист обратно, сверну его в трубку, положу на полку, и ни одна живая душа не узнает, что произошло. Считай, что я сдержал обещание и расплатился за то, что ты сделал для меня в детстве. Идет?

Что я мог ему ответить?

Конечно.

Идет.

Волька оставил меня в баре у бассейна, а сам ушел с листом ватмана подмышкой ко мне в номер.

Я заказал пива и, развалившись в кресле, наблюдал как аниматоры развлекают детей. Солнце давно зашло за горизонт, кругом горели фонари, атмосфера призывала расслабиться, забыть о проблемах, ни о чем больше не думать. Но я продолжал размышлять о нашем с Волькой детстве. О том, какими мы были и какими стали. Я – альфонс, убивший богатую жену ради ее денег. Он – миллионер, владелец отелей в Европе, вынужденный каждый день рисовать картины против своей воли. Я завидовал, а он мучился. Но хотел бы я оказаться на его месте? Несомненно. В этом и есть главный парадокс жизни. Каждый из нас завидует кому-то по мелочам, но живет своей жизнью и в своих шаблонах. Добровольно. Я – Фокусник. Он – Солнечный Мальчик.

Волька пришел минут через двадцать. Разложил на столе телефоны, сигареты и коробки спичек без этикеток. Мы не разговаривали, а просто смотрели на аниматоров. Потом Волька сказал:

– Когда получишь по завещанию все эти старухины миллионы, будь добр, перечисли мне десять процентов за работу. Я сброшу реквизиты.

– Мне показалось, ты делаешь это ради дружбы.

Волька ухмыльнулся, постучал себя согнутым указательным пальцем по лысине.

– Ты форменный идиот, – сказал он, – если в таком возрасте все еще веришь в сказки.

Мы посидели в молчании еще какое-то время. Я допил пиво и спросил, можно ли возвращаться в номер. Впереди меня ждало несколько сложных дней.

Волька протянул мне руку. Рукопожатие вышло крепким.

– Комар носа не подточит.

– Пообещай, что мы больше никогда не увидимся, – сказал я на прощание.

– Непременно, – ответил Волька.

Я прошел мимо бассейна, к стеклянным дверям отеля, и все это время казалось, что Волька смотрит мне в спину. Только это был молодой Волька, с белыми кудрями, с прыщавым лбом, тот самый, который не разлюбил рисовать чудовищ.

Нелюбовь

*Кто задремлет на холме
С веточкой тимьяна —
Будет всюду видеть смерть
И погибнет рано.*

*Кто увидит хоровод
Фейри ночью лунной —
Будет проклят через год,
Прослывет безумным...*

Фэлан прикрывает глаза, вслушиваясь в летнюю ночь. Ветер стекает с холма, как шелк с женского плеча – мало, медленно, поторопить хочется, а нельзя.

Душно.

Душно, хотя пахнет дубовой листвой, и травами лесными, и сыроватой землей, и стынью от костей земных, и пьяными цветами из-под Холма.

– Сколько лет прошло, а на Белтайн поют все те же песни...

– Они тебе надоели? – Сирше смеется, а ее пальцы, прохладные и сухие, легонько скользят по его лбу и седым вискам – гладят, ласкают, прогоняют усталость.

– Нет.

Фэлан даже не лжет, просто недоговаривает. Да и что тут сказать – мне больно от этих песен? Я сожалею о том, что было? Хочу вернуться назад и все исправить?

Сирше может сшить для него рубашку из лунного света, звезду с неба достать и играть ею, как монетой, за одну ночь облететь весь остров от моря до моря... Но обмануть смерть или время – слишком даже для нее.

1

*Кто задремлет на холме
С веточкой тимьяна...*

А началось все с бахвальства, с глупости.

«Никто не сможет вернуться, если заснет на холме и увидит фейри, – Дара лукаво улыбается, зеленоглазая и рыжая. Дразнит. Ведьма, дочь ведьмы, они все такие. – Но говорят, что там растут самые красивые цветы. Хочу их».

Говорит она, вроде ни к кому не обращаясь, а смотрят почему-то на него, на Фэлана-колдуна. Любопытные глаза, жадные до чудес – ну как, сможешь бросить вызов красавице? Или опять она уйдет, насмехаясь – все-то вы мальчишки еще, трусы, болтуны...

«А что мне будет, если я тебе принесу этих цветов?»

Дара опускает рыжие ресницы – плутовка, ведьма... девчонка влюбленная и гордая.

«Всё, что захочешь. Только вернись, если сможешь».

Фэлан упрямо хмурится и встает на ноги, отряхивая штаны от прилипших травинки и лесного сора.

«Вернись. А ты смотри, сдержи тогда слово».

Ни отцу, ни деду, ни братьям Фэлан ничего не говорит. Сам плетет амулеты, сам вышивает обережные узоры по подолу рубахи – он умеет, он колдун, как бы там Дара не смеялась. Фэлан знает много, но прежде ему никогда не приходилось колдовать одному; этим вечером он испытает свое искусство в деле.

Если Фэлан вернется победителем, никто и никогда не узнает, как ему было страшно.

Увидеть фейри легко – достаточно уснуть в правильном месте и подложить под щеку веточку тимьяна; а вот сбежать от них невредимым сложнее.

Когда Фэлан идет вдоль реки к проклятому холму, то мир вокруг кажется ярким и невыносимо прекрасным. Очень хочется жить; ноги как свинцом налитые, непослушные, а дыхание тяжелое.

Назад дороги нет. Отступить нельзя – Дара засмеет, ославит на всю деревню.

...Вечернее небо – высокое, прозрачное, нежное. Оно как поток изменчивого пламени; с запада на восток перетекают цвета – золотой, рыжий, алый, лиловый, лавандово-голубой, синий, иссиня-черный... Тает на языке весенняя прохлада, оглаживает лицо сырой ветер с озера, мнутя и соком истекают под рукою ломкие стебельки цветов – запах горьковатый, свежий, льдистый. Холм дрожит, будто там, под землей, размеренно бьется чье-то огромное сердце.

Фэлан закрывает глаза и слышит смех, пока еще далекий и похожий на шепот листьев. Фейри появляются позже, когда сон начинает смешиваться с явью; они возникают из тумана, облаченные в разноцветные одежды. Арфа, и флейта, и колокольчики из серебра вторят гор-таннным и высоким голосам. Древняя речь завораживает – и пугает своей чуждостью. Фэлан боится не то что пошевелиться – вздохнуть лишний раз. На этом языке, чьи звуки исполнены таинственного могущества, он составляет заклинания – а фейри на нем говорят, шутят, поют...

А потом Фэлан слышит:

«Эйлахан, смотри, какой хорошенький мальчик! Можно, я...?»

«Иди, – смеется кто-то. Кажется, мужчина; впрочем, этих фейри по голосам не разберешь. – Только возвращайся скорее. Без тебя скучно, Сирше».

Сирше.

Фэлан еще не видит ее, но имя дразнит язык, будто яблочная кислинка. Губы пересыхают, хочется пить.

Сирше, Сирше...

«Эй, – она склоняется над ним, дивное видение в шелке цвета заката. Волосы ее белы как снег, а губы серебряные. – Откуда ты здесь?»

Фэлан не может лгать.

«Пришел... на спор. Обещал нарвать цветов для...»

Фейри касается холодной рукою его лица.

«Она красивая?»

«Очень!» – с жаром восклицает Фэлан и, забывшись, вскакивает. Он заливаётся румянцем, и фейри смеется – высокая, тонкая, гибкая, древняя, знающая всё и даже больше.

«Сколько тебе лет?»

«Тринадцать», – он упрямо вздергивает подбородок. Взрослый мужчина, колдун, смельчак.

«Хорошо-о-ошенький... – тянет фейри. Глаза у нее медовые, томные. – Приходи сюда через два года. Я подожду».

«Я не...»

«Придешь, – улыбается и водит пальцем по его губам. Губы немеют, и язык тоже, как на сильном морозе, но Фэлан будто горит. – А пока возьми это».

Фейри дует ему в лицо, Фэлан жмурится – и просыпается.

На голове у него венок из колокольчиков, а в руках – охапка цветов; разных – всех, что растут в округе, и тех, что не растут, тоже.

Домой Фэлан возвращается шатаясь, как пьяный. У отца в волосах появилась злая седина, руки дрожат – Дара набралась смелости и рассказала, куда отправила его сына. Это было двенадцать дней назад, сейчас тринадцатый.

Позже Фэлан отдает Даре цветы – при свидетелях, и клянется, что они из садов фейри. Дара больше не опускает лукаво ресницы, она смотрит прямо, и ее глаза обещают Фэлану все, что он осмелится попросить. Но он только смотрит мимо, поверх ее плеча, на запад.

Фэлану кажется, что два года – это целая жизнь.

2

*... Будет всюду видеть смерть
И погибнет рано...*

Фейри коварны, фейри хитры, фейри лживы. Из всех пороков им не знаком только один – ревность; зато в человеческой крови его хватает с избытком.

Фэлану теперь двадцать три, и нет от Северного моря до самых гор за проливом ни одного человека, который не знал бы его имя. Слава о колдуне из Кладх-Халлан с каждым годом все ширится. Люди рассказывают о нем разное. Будто бы он умеет оборачиваться соколом и горностаем, разговаривает с камнями, заклинает холодное железо и желтое золото, ездит не на простом коне, а на злобном духе речном... А еще говорят, что Фэлану дарит любовь прекраснейшая из фейри – Белая Сирше.

От этих речей Фэлану хочется выть по-волчьи.

Да, он молод, красив и силен, но уже появились на висках первые седые нитки в смоляной гриве волос. Сколько лет ему еще осталось? Двадцать, тридцать? А сколько из них он проведет глубоким стариком, немощным, сварливым и вонючим?

А Сирше так и останется вечно юной и прекрасной до конца времен.

Когда он умрет, она забудет его.

Фэлан сходит с ума от одной мысли об этом. Он в ярости расхаживает по дому, деревянный настил прогибается под тяжелыми шагами, жалобно скрипят доски.

«О чем думала она, когда начинала эту игру? Чем прельстил ее мальчик, уснувший на холме?»

Он много раз спрашивал Сирше, но та всегда только смеялась в ответ. Смеялась – или целовала, и тогда уже не хотелось ни о чем спрашивать, и губы щипало, как в лютый холод, и каждое прикосновение обжигало.

Любит ли его лукавая фейри? Или просто дурачится, согревает свою бесконечную жизнь ярким, горячим, скоротечным пламенем человеческой любви? Одним из многих в бесконечной череде...

Фэлан хочет быть единственным. Поэтому сегодня он идет к Даре.

Рыжая ведьма встречает его приветливо. Она простила ему все – и пренебрежение, и бесконечные жалобы на Сирше, и даже свое одиночество. В зеленых глазах ее давно уже нет ни игривости, ни кокетства – только усталость и безмерная вина за те двенадцать дней, что Фэлан провел под Холмом.

«Чего тебе нужно на этот раз?» – спрашивает Дара кротко. Она и мысли не допускает о том, что Фэлан может прийти к ней просто так, а не за помощью.

«Зелье. Такое, какое может сварить только ведьма». «Какое?»

Когда Фэлан рассказывает, Дара впервые за много-много лет испытывает гнев... нет, не так: она захлебывается гневом. Кричит, стучит ногами и, кажется, плачет. Фэлан терпеливо ждет и прихлебывает из чаши травяной отвара, опустив густые ресницы. Все, что Дара может сказать, он уже много-много раз говорил себе.

«Ты же себя погубишь. И ее. Жалеть будешь, никогда себя не простишь», – шепчет она, когда сил на то, чтобы гневаться, уже не остается.

Но глаза Фэлана говорят о том, что он не отступится, и Дара соглашается. Страшный грех берет на себя – обещанное зелье должно связать сердца человека и фейри, пригубивших его. И тогда один будет счастлив лишь до тех пор, пока жив другой. А когда сердце человеческое остановится, то погибнет и бессмертная фейри.

Дара ненавидит Сирше, но не желает ей такой судьбы. Нет ничего горше, чем быть преданной возлюбленным.

Но Фэлану отказать невозможно.

Он говорит, что любит Сирше, но это не любовь, а что-то страшное, разрушительное, жуткое.

Три полнолуния спустя на деревьях начинают распускаться первые клейкие листочки, пахнущие остро и пряно. Весна все уверенней ступает по северным землям. Постепенно успокаивается и ревность Фэлана – Сирше по-прежнему здесь, с ним. Она тиха и задумчива, чаще прежнего говорит, что любит его.

Теперь в это верится легко, но отступать уже поздно. Зелье смешано с подогретым вином и перелито в кубок. Едва пригубив, Фэлан протягивает его Сирше.

«Что это?» – спрашивает она.

Белые волосы ее собраны в косу, одежды непривычно светлые и закрытые. Острые плечи укутаны вышитым покрывалом.

«Знак нашей любви».

«Разве нашей любви нужны знаки?» – Сирше смеется, и в смехе ее арфа, и флейта, и серебряные колокольчики.

Любит ли она его на самом деле? Или нет? Может, она играет, и все это для нее не серьезно?

Вот бы получить знак, думает Фэлан. Хоть какое-нибудь подтверждение. Тогда бы он тотчас же выплеснул зелье и был бы счастлив.

«Я люблю тебя, – отвечает Фэлан, не отводя взгляда. – Ты будешь со мною всегда? До самой смерти?»

Прежде это означало – до моей смерти. Но с этого вечера все будет иначе. Теперь они по-настоящему станут равны.

Сирше принимает кубок и осушает его в один глоток.

«До самой смерти...»

А потом наклоняется к Фэлану и шепчет на ухо:

«К осени я рожу тебе сына».

Фэлану кажется, что он падает в пропасть.

3

*... Кто увидит хоровод
Фейри ночью лунной...*

Когда ведьма Дара была молода, она мечтала увидеть Фэлана на коленях – отчаянно влюбленным, страдающим, ищущим у нее утешения. Чтобы волосы цвета воронова крыла разметались в беспорядке по плечам, и шнуровка на рубашке распушена, и в синих глазах – мука смертная. И чтобы пели кругом соловьи, и цвел дикий шиповник, голову кружил сладкий ветер с западных холмов...

Теперь Дара ненавидит себя за эту сбывшуюся мечту. Фэлан здесь, он влюблен и страдает, но чувства его обращены к другой.

«Всеми богами тебя заклинаю, Дара... Верни все обратно! Свари другое зелье, освободи Сирше, я прошу!»

Фэлану тридцать пять, и седины в его волосах уже куда больше, чем смоляной черноты, а лоб изрезали глубокие морщины. Не смазливый мальчишка – могущественный колдун, все еще красивый к тому же. Ишь, как сердце у Дары колотится.

«Не могу. Нет от того зелья лекарства. Ничего не воротишь».

«Прошу тебя, Дара! Все, что пожелаешь, дам тебе!» В глазах у Фэлана столько боли, что у Дары на языке появляется горечь.

Тринадцать лет назад Сирше родила сына. Два года она жила как простой человек – не спускалась под Холм, не танцевала в лунном свете, не каталась по небу в колеснице, запряженной северными ветрами. Фэлан устилал полы в доме теплыми мягкими шкурами, а если случилось жене выйти наружу – готов был ее на руках носить, чтоб не запачкала она ноги в дорожной пыли. Больше, чем Сирше, баловал он, пожалуй, только сына – мальчика, прекрасного, как зимний рассвет, и не похожего на смертного человека.

«Дара, умоляю тебя...»

«Нет. Прости».

Когда он уходит, Дара долго плачет. Она ведь предупреждала, предупреждала, да разве ее кто послушает... Фэлан и не поймет никогда, почему Дара не могла тогда отказать ему. Он, поди, уже и забыл ту клятву.

«А что мне будет, если я тебе принесу этих цветов?» «Всё, что захочешь. Только вернись, если сможешь». Не помнит. Забыл. Все заслонила Сирше – медовые ее очи, белоснежные волосы, сладкий голос и лукавые слова.

«Все несчастья от фейри, – воет отчаянно Дара. – Всё из-за них».

Но утешения почему-то не помогают. Вина ее тяжка; она пригибает Дару к земле и шепчет вкрадчиво:

«Кабы ты не просила невозможного, ничего б не было».

Даре больно, а еще больнее Фэлану; и только Сирше беспечно танцует с сыном в свете луны и беспечно смеется, не зная, что не сможет разделить с этим мальчиком свое бессмертие. Неважно, сколько ей осталось лет, десять или двадцать; однажды время ее закончится.

Через день Дара находит Фэлана у реки и говорит ему:

«Скажи обо всем Сирше. Она фейри, она мудрее нас с тобой. Может, она знает лекарство от того зелья, или обряд, или оберег».

Фэлан вздрагивает. Лицо его искажается.

«Не могу. Она будет ненавидеть меня, а еще... а еще познает страх перед смертью. Хватит и того, что я один буду мучиться им. Нет, Сирше я ничего не расскажу. Пусть она остается счастливой».

«А что же ты?»

«А я буду искать лекарство один. Я успею».

Он говорит твердо, но вовсе не уверен в своих словах. Дара украдкой вздыхает и отводит взгляд.

Фейри приносят одно горе.

4

*... Будет проклят через год,
Прослывет безумным...*

Все это было очень давно.

А теперь Фэлан сед, как лунь, и время скрючило его, согнуло в дугу. Пальцы стали что высохшие ветки – кривые, непослушные. Глаза видят не так зорко, как в молодости – что в человеческом облике, что в соколином. Единственный и любимый сын странствует в чуждадных землях – учится чародейству у всех, кто готов учить его. Дара уже два года как умерла, и немногие помнят, что та угрюмая крючконосая ведьма была когда-то смешливой рыжей девчонкой с лукавым взглядом.

И только Сирше, прекрасная Сирше по-прежнему рядом с ним.

Высокая, гибкая, тонкая, древняя, знающая всё и даже больше... кроме одного.

Фэлан открывает глаза и смотрит на нее. Белоснежные волосы блестят в лунном свете. У реки деревенские распевают те же песни, что и пятьдесят лет назад, пляшут, жгут костры и прыгают через них. Говорят, что так в огне сгорают печали, горести и проклятия.

Жаль, что ему это не поможет. Он все-таки не сумел найти лекарство, а теперь уже поздно.

И где найти смелость признаться?

А ведь может случиться так, что эта ночь – последняя.

– Сирше, я совершил ужасную...

Она улыбается и касается холодным пальцем его губ, словно запечатывая. Губы тут же немеют, как на морозе.

– Т-ш-ш... Не говори ничего. Я знаю.

Фэлан сначала недоверчиво хмурит брови, но потом глядит в ее глаза и осознает, что она говорит правду.

– Откуда ты... – подхватывается, пытается сесть, но приступ кашля сгибает его пополам.

Сирше гладит Фэлана по волосам, принуждая лечь обратно. Она смеется, как всегда – будто звенят серебряные колокольчики, беспечно и загадочно.

– Ты говоришь во сне, о муж мой. А я никогда не сплю.

Фэлан смотрит на нее снизу вверх и ничего не понимает. Совсем ничего.

– Если ты обо всем знаешь, тогда почему... осталась со мной? Я обрек тебя на смерть.

– Пока не обрек, – улыбается Сирше. У нее глаза цвета мёда и томный взгляд. Она не меняется, сколько бы лет ни прошло – мудрая, вечная. – Ты жив, жива и я. А почему я осталась... Я люблю тебя, Фэлан. Хоро-о-ошенький мальчик...

Вот теперь она точно смеется над ним.

Небо напоминает холодный стеклянный купол, подсвеченный изнутри – ало-золотым на западе, лилово-голубым в зените, а на востоке царит иссиня-черная тьма. Льдистая крошка звезд рассыпана в беспорядке, мерцающая, заманчивая. Холм дрожит, будто там, под ним, бьется заполошно чье-то огромное сердце.

– Сирше, – тихо говорит Фэлан. – Прости меня. Я хотел бы сказать, что жалею о том, что сделал... Но если б все вернулось назад, боюсь, я поступил бы так же. Я не смог бы тебя отпустить. Сирше... – имя тает на языке яблочной льдинкой.

– Спи, – она легонько касается его век. – Никогда не жалею ни о чем. Сожаления превращают любовь в нелюбовь, а жизнь – в пустоту. Ты еще ничего не понимаешь. Мальчишка...

И Фэлан послушно закрывает глаза.

Каждый вдох дается ему все тяжелее. В ушах нарастает звон – то ли искаженный плач флейты, то ли расстроенные струны арфы, то ли серебряные колокольчики бьются друг о друга не в лад. Вспыхивают под опущенными веками золотые звезды.

Вздрагивает земля. Издалека доносится пение на языке древнем и тягучем.

«Эйлахан, я вернулась. Примешь ли ты под холмом еще одного человека?»

*Кто задремлет на холме
С веточкой тимьяна —
Будет всюду видеть смерть
И погибнет рано.*

*Кто увидит хоровод
Фейри ночью лунной —
Будет проклят через год,
Прослывет безумным.*

*Кто любовь отдаст свою
Духам бессердечным —
Будет, будет заточён
Под Холмом навечно!*

4

Жадность: Сцилла



У неё двенадцать цепких лап, шесть жадных пастей; Сцилла никогда не умолкает и никогда не насыщается.

Престиж

У меня семь сестер и девять братьев. Мы считаемся многодетной семьей, проходим по шести социальным программам, получаем льготные пособия, ежемесячные государственные выплаты и каждые четыре года улучшаем свои жилищные условия.

За это мы каждый день благодарим маму.

Пару десятилетий назад она решила, что иметь много детей выгодно. До этого мама прислуживала няней и зарабатывала копейки. Денег хватало на то, чтобы снимать крохотную квартиру в пригороде, где едва умещались одноместная койка и тумбочка. У мамы не было интернета, собственных выделенных карт-доступа, ни одного вживления. В наследство от бабушки ей достался только крохотный съемный «бегунок». Он ловил сигнал с перебоями и запросто мог выжечь маме мозги, когда она с его помощью отправлялась в далекие виртуальные страны.

Как-то раз мама наткнулась в журнале на статью о социальных программах для многодетных семей. Она уловила суть – гораздо выгоднее завести собственных детей, чем бегать по пятам за детьми чужими.

В тот же день мама активировала свои детородные аккаунты и подала заявку на усыновление. Еще через неделю ей привезли двух мальчиков и девочку – розовощеких и голопузых, только что из коконов.

К тому времени мама оформила материнство и переехала в просторный двухэтажный дом. Ей провели выделенный доступ к социальным настройкам, открыли виртуальный личный кабинет и активировали пользовательские ссылки на портале государственных услуг. Еще загрузили первоначальный взнос и материнский капитал. Счастье было не за горами.

Мама долго думала над тем, как настроить и назвать детей. Остановилась на несложных именах латиницей с удобными проверочными словами. Мальчики не отняли много времени, а девочку пришлось настраивать несколько дней. Мама хотела, чтобы она выросла красивой и, главное, похожей на нее. Режим гибких настроек позволил изменить цвет волос, сделать тоньше нос и подбородок, подправить глаза. Точного сходства мама, конечно, не добилась, но осталась довольна и активировала учетные записи.

Так на свет появилась я – мамина любимица.

Иногда кажется, что во мне отражается мамина ностальгия по времени, когда она еще обращала внимание на собственных детей. Сейчас ей все равно, кого привозят из Дома Ребенка в красивых розовых автомобилях. Она не заглядывает в коконы, не радуется первым детским крикам, а просит меня или кого-нибудь из братьев и сестер помочь с адаптацией нового ребенка. Чаще всего мама дает имена случайным набором букв на клавиатуре. Проверочное слово у нее одно – «Link». Это имя моей бабушки. И мое.

Гибкие настройки внешности и характера маме не нужны. Ей выдали стандартный пакет, где можно проставить все галочки одним нажатием кнопки. Этого достаточно и не отнимает много времени.

Из всех девочек только у меня рыжие волосы. У остальных они пепельные с оттенком металла. И у тех девочек, которых больше нет, волосы тоже оставались пепельными.

Я не помню, сколько у меня было братьев и сестер. Они появляются и исчезают. Некоторые не задерживаются у нас больше двух-трех недель. Кое-кто прожил год или около того. Четверо мальчиков живут уже пятый год, и еще я – пятнадцатый. Столько их уже сменилось в нашем доме – детей со стандартными настройками – что имена путаются в голове, сложно запомнить их однотипные лица. Я стараюсь, конечно, но не всегда успеваю.

Мама говорит, что это все из-за дефектов. Массовое производство детей, начавшееся в конце прошлого века, резко снизило их качество. Раньше дети были штучным товаром, их изготавливали на заказ умелые мастера, которые отлично знали свое дело, имели высокую квалификацию. Такого ребенка можно было растить до пятидесяти-семидесяти лет и не обнаружить в нем ни единого изъяна. Сейчас же политика государства такова, что важно не качество, а количество. Отсюда и базовый набор настроек в комплекте, поспешная активация, огромные льготы для многодетных семей.

Мама говорит, что мы снова гонимся за каким-то соседним государством, соревнуемся, пытаемся превзойти. Сейчас в приоритете – повышение демографии.

Я не уверена, что точно выразила мысль. Мама говорит – нам важен престиж. Поэтому надо производить детей в огромных количествах. Не важно, с дефектами они или без.

Восемь девочек и девять мальчиков – это максимально возможный порог для многодетной семьи. То есть, мы получаем самые большие льготы в стране. У нас две машины и личный водитель – престарелый безымянный мужчина с седыми усами. Однажды он возил маму к мастеру по лицензированию, который занимается удалением детей, и после этого уволился. Мама сказала, что водитель сошел с ума. Его бы самого надо удалить.

Дефектные взрослые, как и дефектные дети, говорила мама, не могут нормально жить в нашем мире, поэтому их и надо удалять. У них что-то сбивается в настройках. Дети перестают вести себя как нормальные.

Один из первых моих братьев однажды начал носиться по дому с криками, изображая то ли ветер, то ли ураган. Он дергал занавески, опрокидывал стулья и вопил о том, что собирается окружить всех вокруг волшебным вихрем. Мама сказала, что у него сбилась настройка спокойствия. Подозреваю, что она просто не хотела тратить лишние деньги на перепрошивку. Брата было легче удалить и заказать нового.

А одна сестра как-то раз украла из магазина краску для волос и залила себе всю голову фиолетовой жидкостью. Сестру тоже отвезли к мастеру по лицензированию, а потом красивый розовый автомобиль привез новый кокон.

Несколько лет назад брат с сестрой слишком громко смеялись над фильмом. Они долго не могли остановиться, заливались смехом и катались по полу. Мама влепила брату пощечину, а потом сказала, что если они не прекратят смеяться и не будут мешать ей читать книгу, то живо отправятся к мастеру по лицензированию. Впрочем, брат с сестрой вскоре все равно отправились на одном из маминих авто в центр города и не вернулись. Они слишком громко смеялись, понимаете?

Так же не вернулась сестра, которая однажды разбудила маму ночью, когда отправилась в туалет и хлопнула дверью.

Не вернулся брат, который чавкал и не убирал крошки со стола.

Не вернулся еще один, читающий книгу с фонариком под одеялом – мама проходила мимо детской и заметила тонкий луч света, разрезающий темноту.

И еще десятка два детей, которые чем-то маме не понравились. Лишали ее праздного спокойствия богатой жизни. Отвлекали от перебирания аккаунтов и подсчета накопленных средств. Мама увозила их на проверку, а возвращалась одна.

Проще поменять ребенка, чем воспитать уже испорченного.

Как-то раз я стригла цветы на заднем дворе и заметила нашего бывшего водителя. Он стоял у обочины и махал мне рукой. Хотя мама говорила, что он сошел с ума и наверняка с дефектом, водитель не казался страшным. Поэтому я подошла ближе и поздоровалась.

Мне было уже семнадцать, я не привыкла бояться кого бы то ни было.

Водитель сказал, что вспомнил о моей маме. Его не отпускают жуткие воспоминания о дефектных детях, которых мама заменяла, будто они были севшими батарейками. Он спросил, почему я все еще живу к этому дому? Почему меня до сих пор не признали дефектной?

Я ответила, что все дело в ностальгии. Мама скучает по прошлому, перебирает ссылки, которые остались на память от бабушки. Она любит просто так разглядывать меня, ощупывать лицо, водить пальцами по рыжим волосам. Что-то она чувствует, глядя на меня. Поэтому позволяет слишком громко хлопнуть дверью или не всегда мыть посуду сразу после еды.

Водитель сказал, что ностальгия – это хорошо, просто замечательно, а потом спросил, знаю ли я, что моя мама сошла с ума?

Я ответила, что, да, мама свихнулась много лет назад.

Мне еще не было и десяти, когда мама начала приезжать домой в компании с каким-то мужчиной, которого звала мастером по лицензированию на все руки. Мама поднималась с ним на второй этаж и позволяла себе греметь, шуметь, кричать, стонать. Никто все равно бы не повез ее на удаление, никто не сказал бы, что у нее дефект.

Когда она спускалась со второго этажа, абсолютно обнаженная, потная, с растрепанными волосами, мне хотелось вопить от ужаса. Потому что я знала, что произойдет дальше – за ее спиной возникнет тот самый мастер по лицензированию (толстоватый ухмыляющийся коротышка). Он будет говорить, что ему нужен лицензионный материал, что очень сложно получить сертификацию, поскольку хорошие, здоровые дети нужны для престижа, а дефектных становится очень мало. А мама, спустившись, будет осматривать детишек туманным взглядом, выберет одного, потреплет по волосам и скажет мастеру: «Забирай этого». Он заберет, облизнувшись. А я буду стоять с колотящимся сердцем и каждый раз гадать о том, когда же мама потреплет по волосам меня.

Водитель слушал внимательно, а потом ответил, что моей маме нужно лечиться. Ни одна нормальная мать никогда не отдаст своего ребенка на удаление. Пусть он будет хоть сто тысяч раз дефектен. Даже в мире, где человеческая жизнь перестала цениться.

Он взял меня за плечи и сказал:

– Знаешь, я прямо сейчас пойду в дом и разберусь с ней! Хочу нормально спать по ночам!

Я попыталась возразить, но водитель направился через двор, сминая тяжелыми ботинками изумрудную траву газона. Он зашел в дом, хлопнув дверью, и я слышала, как он ходит внутри, пугая детей своим присутствием, кричит, зовет, угрожает. Под его ногами скрипел дощатый пол.

Я зашла следом, остановившись на пороге. Собрала вокруг себя семерых испуганных сестер и девятерых возбужденных братьев. Со второго этажа спустился запыхавшийся водитель. У него покраснело лицо, обвисли седые усы.

– Где она? – пробормотал он. – Скажи!

Тогда я ответила:

– Мама умерла. Бабушкин «бегунок» выжег ей мозг несколько ночей назад. Мама отправилась в виртуальное путешествие и не вернулась. Вы опоздали.

Водитель тяжело сел на ступеньку лестницы, погрузил пальцы в редкие и тоже седые волосы.

– Какой кошмар, – сказал он. – Я много лет думал о том, как приду в этот дом и освобожу всех вас. Мне снились твои рыжие волосы. Я надеялся, что как-нибудь смогу сказать, что вы все свободны.

– Вы и сейчас можете это сказать.

– Уже слишком поздно.

– Я бы попробовала.

Он поднялся. Дети вокруг меня настороженно и тихо разглядывали этого пожилого сутулого человека.

– Вы же теперь свободны, – пробормотал водитель с нотками печали в голосе. – Почему до сих пор живете здесь?

Я пожала плечами. Это было очевидно:

– Кому-то же надо оставаться мамой. Сложно быть ребенком в мире, где человеческая жизнь ничего не стоит.

...Водитель иногда приходит в гости, и мои дефектные братья и сестры называют его дедушкой.

Дедушка любит приносить с собой подарки, а дети рассказывают ему миллион историй. Он любит нашу большую семью – искренне любит, несмотря на то, что каждый раз перебирает имена детей, проверяя, не отправила ли я кого-нибудь к мастеру по лицензированию.

Я знаю, что когда-нибудь водитель попросит меня рассказать историю о маме. О том, как же она умерла по-настоящему.

Думаю, я объясню ему, что это был вовсе не несчастный случай. Просто однажды она спускалась с лестницы – обнаженная и вспотевшая – и потрепала меня по голове. В тот момент я поняла, что в маме больше не осталось ничего человеческого. Что если я сейчас же не сделаю что-нибудь, то мастер по лицензированию, облизнувшись, возьмет меня за руку и увезет на своем совсем не красивом автомобиле.

Мастер, кстати, больше не приезжает в наш дом, а на крышку гроба мамы я бросила не клочок земли, а сгоревший «бегунок». На память.

Подробностей водитель никогда не узнает. Да ему и не нужно. Главное, кажется, он поймет суть. Дело не в престиже и не в сумасшествии.

А в человечности.

Золотая лопата Большого Че

Сизая капелака висела над полем низко, едва не касаясь переполненным брюшком распаханной земли.

– Дядьку Татай, зимбанёт?

Сдвинув кверху кожу на лбу, дядьку напряг третий глаз и важно изрёк:

– Таки думаю, что зимбанёт.

Галипан заулыбался, подхватил ведро и, высоко вскидывая копытца над рыхлой землёй, помчался наперерез капелаке: на такие вещи у дядьки глаз был намётан. И сейчас всё вышло, как нельзя лучше. Едва успел Галипан добежать до края поля, как сизое брюшко дрогнуло, побелело – и длинной очередью отстрелило в пашню двойную порцию зимбаней. Блаженно пыхая трубкой, Татай наблюдал, как племянник ловко выбирает их из земли, а затем бежит обратно к крыльцу – теми же длинными, грациозными прыжками, несмотря на тяжкую ношу.

«Далеко мальчик пойдёт».

– Дядьку, глянь! – Галипан с размаху выпрыгнул на террасу и плюхнул на стол ведро. – На зубы мамке хочу отдать. Как думаешь, сгодятся?

Татай завернул рукав и поглубже запустил шестерню в ведро. Зимбани были мелкие, как речной перл, такие же вытянутые, твёрдые и белые.

– Таки вполне сгодятся, – вынес он вердикт. – Вростут, как родные... Однако, времечко поджимает. После гонки разберёмся.

Галипан присмотрелся к линии горизонта и охнул: солнце миновало горный хребет и бодро карабкалось по небосклону.

Дядьку Татай завёл древнюю тарахтелку и влез в головную часть. Галипан пристроился в хвосте, зажимая ведро между коленями, чтоб не растерять драгоценную добычу. Когда тарахтелка получила инъекцию стимулятора и взмыла в небо, он зажмурился по привычке, но затем пересилил себя и вытянул шею к мембране.

Земля проплывала внизу – прекрасная, как невеста. Пашня дышала паром, словно предчувствуя дневную жару. За кромкой поля, там, где уголья переходили в подножье гор, капелака вгрызалась в камни, медленно, но верно уходя всё глубже. Галипан инстинктивно огладил блестящий бок ведра и заулыбался, представляя мамку с зубами.

Тем временем тарахтелка перестала набирать высоту и выпростала вторые крылья, чтобы перейти в бреющий полёт. А через каких-то четверть часа вдали показался посадочный гриб со множеством других тарахтелок, ползунов, грызей, и Татай уверенно повёл её на снижение.

– Глядь-ка, дядьку, там не доктор Шапут?

– Да быть того не может, – нахмурился он. – Ему уж лет под двести. Манипуляторы не гнутся, куда ему за лопатой гоняться... – Тут дядька сдвинул мембрану, высунул голову наружу и присвистнул: – Эге-ге! Таки впрямь Шапут. Я-то думаю, чей такой синий грызь, уж больно знаком.

Доктор тоже увидел его издали и принялся размахивать всеми конечностями, кроме трёх опорных, чтоб разогнать толпу в стороны и расчистить место для посадки. Татай благодарно просигналил розовой пыльцой и завёл тарахтелку на посадку. Вышло совсем мягко – ни один зимбань в ведре не звякнул.

– Здоров будь, старина! Таки выбрался на солнцепёк нынче? – шагнул с подножки дядьку и позволил себя облапить. Манипуляторы у Шапута двигались еле-еле и то и дело опадали безжизненно, как обезвоженные ростки, а кожа сморщилась. Но взгляд оставался таким же лукавым, как и пятьдесят, как и сто лет назад.

– И тебе не хворать, – трубно прогудел Шапут и ухмыльнулся: – Я бы и рад в теньке день коротать, да жизнь не велит. Старший на ярмарку укатил, у младшего свадьба... Не девиц же наших посылать сюда, право слово. А никого не пришлём от семьи – сам знаешь, что будет.

– Таки твоих девиц – хоть на войну, хоть на танцы, – отшутился Татай и оглянулся по сторонам – тихонько, чтоб никто не заметил. Третий глаз то мелькал в складке на лбу, то опять скрывался. – Народец всё тот же?

Ответить Шапут не успел.

Посадочный гриб задрожал, как в лихорадке, потеплел – и выбросил в самом центре два длинных уса с ретрансляторами на концах. Толпа хлынула в центр, унося и обмякшего Шапута, и Галипана, так и не рискнувшего отпустить драгоценное ведро, и даже дядьку Татая – только успевай уклоняться да смотри в оба, чтобы не отдавить чьи-нибудь ноги или манипуляторы, не порезаться о жвалы, не попасть под копыта или не зацепиться гребнем за хвост. А ретрансляторы уже начали вещать бесцветным андрогинным голосом:

– Братья и сёстры! В этот славный девяносто девятый день пятисот седьмого цикла от Точки Изменения снова будет дарована вам величайшая милость Большого Че. Тот, кто первый отыщет Золотую лопату, получит особую привилегию на весь текущий цикл и первые сто дней следующего...

В толпе Татай выхватил необычно бледное и простоватое лицо с глазами проникновенной синевы, но тут же потерял его за радужным всполохом чьей-то мембраны.

– Таки есть новенькие или нет? – толкнул он в бок Шапута.

– Да вроде была парочка, – сознался тот с неохотой, пожимая верхними плечами. И сощурился насмешливо: – А ты, погляжу, хочешь старый трюк проверить?

– Отчего нет, – ухмыльнулся дядька в бороду.

И в тот самый момент кто-то на другом конце площадки заверещал тоненьким голоском:

– Вижу лопату! Лопату вижу, братцы!

Гриб ахнул в едином порыве, напыжился, встопорщился – и вся разномастная толпа, щёлкая жвалами, хлеща манипуляторами, разбухая и колыхаясь, как тесто в кадушке, выперла с площадки пологой волной и хлынула на стоянку. Затрещали тархтелки, срываясь в низкий полёт; два грызя, прыгнув одновременно, сцепились лапами и рухнули на неповоротливый бирюзовый ползун.

– Эхма, как его! – присвистнул Татай, быстро зыркнул третьим глазом по сторонам и хлопнул Галипана по пояснице: – Эй, не зевай! Шапут, бывай, после гонки свидимся!

Продираясь сквозь толпу, Татай улучил момент – и с размаху налетел на того самого, синеглазого и бледного, человеческого аж до щемления в груди:

– Что стоишь?! – завопил пронзительно прямо в безыскусно-соразмерное лицо. Бледный растерянно хлопнул ресницами. – Лопата показалась! Последним хочешь стать? А знаешь, что с последними бывает?! – спросил он, потрясая кулаками, и тут же прынул назад, цепляясь за локоть Галипана: – Эй, племян, не подведи! Не подведи, родненький!

Галипан – весь в матушку – тут же сообразил, что делать. Поднапряг ноги – и взвился кверху, ничуть не хуже иного грызя. Извернулся в воздухе и приземлился на четыре конечности уже у самой тархтелки. Дядька Татай впихнул его в хвост, сам с разбегу нырнул в голову и засадил в панель двойную порцию стимулятора.

Тархтелка побагровела, загудела – и резко взмыла в небо, стрекоча крыльями. Галипана швырнуло к прозрачной мембране; он едва успел разглядеть, как стремительно поднимается над грибом продолговатый металлический болид, а потом дядька Татай потянул за управляющий ус, и горизонт завалился на бок.

На горизонте, аккурат между двумя горами, сверкало нечто золотое, яростное, невообразимо прекрасное.

– Лопата... – обмирая, прошептал Галипан. Он сплюснул нос о мембрану, пытаясь разглядеть, прочувствовать, но тут из-под брюха тарахтелки, едва не вспарывая размякший панцирь, взмыл матёрый грызь.

Дядька Татай потянул за усы, уводя транспорт в сторону, и цыкнул сквозь зубы:

– Таки зацепил почти, ловкач... Ну-кась, съешь!

Он хлопнул по наросту на панели – и тарахтелка выплюнула густое облако едкой зелёной пылицы. Грызь заверещал – и слепо замолотил лапами по воздуху, сбивая ближайших преследователей, а затем рухнул на вспаханное поле, увязая в земле.

– Один, два, три, – шептал Галипан, считая транспорты, падающие то тут, то там. Зимбани звякали в ведре на резких поворотах, оконная мембрана то мутнела от натуги, то вновь становилась прозрачной. – Четыре, пять, шесть...

Воздух потемнел от ядовитых облаков. Но хуже всего приходилось ползунам – мощные и неповоротливые, они не успевали уклоняться ни от обезумевших грызей, ни от бритвенно острых крыльев подбитых тарахтелок, а ветер ещё к тому же сносил пылицу вперёд, прямо на пашню, закрывая дорогу к вожаемой цели.

Дядька Татай щипком закрепил кожу, открывая третий глаз уже полностью – не до красоты было, ох, не до красоты. Тарахтелка замедлилась, виляя меж опасных облаков. А затем впереди опять сверкнуло золотом и обещанием неизбывного счастья, и в этом сиянии Татай ясно разглядел верный путь.

– Ей-ей, держись, племяш!

Галипан едва успел вцепиться крючьями на локтях в наросты на стенах, когда тарахтелка напряглась – и распрямилась пружиной, по спирали уходя наверх, мимо облаков пылицы, мимо ошалевших от яда транспортов...

Дышать стало полегче.

Здесь, на безопасной высоте, парило всего с пяток тарахтелок – и тот самый металлический болид, неуязвимый ни для пылицы, ни для острых гребней.

Дядька Татай недобро ухмыльнулся.

– Ну, теперь попроще уже будет. Эй, племяш, высунь-ка наружу сигнал да начинай махать посильнее.

– А зачем? – бесхитростно спросил Галипан, нашаривая связку сигнальных грибов в самом конце хвоста.

Дядька вздохнул – хорош племяш, да молод ещё, жизни не знает, а в ответ сказал только:

– Надо.

От встречного ветра на высоте гриб разгорелся мгновенно. Дядька Татай лениво кружил прямо под плотной группой тарахтелок, не рискующих разлетаться по сторонам и выпускать из виду болид. А потом, когда внизу что-то утробно заурчало – потянул вдруг за ус, резко отбрасывая тарахтелку назад.

И в тот же миг из облака пылицы вынырнул синий грызь, безумный, как капелака весной – ошетилившийся, со вздыбленными гребнями на лапах. С размаху он врезался в косяк тарахтелок, кого протаранив, кого задев по косой – и начал медленно опадать вниз, выпуская один страховочный пузырь за другим.

– Это что ж, доктор Шапут? – обомлел от удивления Галипан и стиснул ведро так, что оно заскрежетало и смялось.

– Кто ж ещё, – заулыбался Татай. – Ай, хитрец, не подвёл-таки... Крепкий старикан, эхма! – и отсалютовал розовым облаком.

Шапут высунул сквозь мембрану обмякший манипулятор и махнул – мол, свои люди сочтёмся...

И сейчас, когда небо почти расчистилось, а ядовитая пыльца осталась далеко позади, Галипан осознал, как близко вдруг стали горы. Золотой блеск затмевал солнце, и в желудке начинало сладко жечь и дёргать, как от слишком острого супа.

– Она... – благоговейно выдохнул Галипан.

– Она, родимая! – хмыкнул Татай. – Надо поднапрячься чуток да завалиться... Кабы не пролететь...

На последней прямой болид, единственный транспорт, что остался в воздухе после самоубийственной атаки Шапутова грызя, начал ускоряться. Татай вколол в панель финальную порцию стимулятора, и тарактелка, из последних сил стрекоча крыльями, принялась увиваться вокруг металлических боков, сбивая болид с курса.

– Врёшь... – скрежетал зубами Татай. – Не уйдёшь... Эхма!

А величественная лопата сияла уже совсем рядом, за грядой высоких, острых каменных шпилей, способных пропороть даже металл. Бolid нёсся уже параллельно с тарактелкой, то обгоняя, то отставая вновь; дядька Татай хохотал до хрипу, и третий глаз его наливался злобещей краснотой.

– Врёшь! Не уйдёшь! Куда, куда заворачиваешь!

Когда до шпилей оставалось секунды три полёта, Татай поднырнул под металлическое брюхо болида, пытаясь сбить человечка с курса... и вдруг из едва заметных отверстий в блестящей обшивке вырвалось облако нестерпимого жара.

Тарактелка завизжала и принялась заваливаться – прямо на острые скалы внизу.

А болид, вырвавшись вперёд, с размаху влетел в золотое, невообразимо прекрасное сияние.

...У Галипана дыхание сбилось от восхищения.

– Дядьку Татай... Вир-ту-оз-но!

Тот в ответ лишь засмеялся смущённо и потёр нарост на панели, выпуская холодящую голубоватую пыльцу. Тарактелка с сильным ожогами едва дотянула до площадки и без сил рухнула на камни.

Бolid стоял там же, в трёх прыжках впереди. А синеглазый человечек в универсальном костюме сидел на земле, обнимая померкшую золотую лопату; сейчас она уже не казалась такой прекрасной.

Андрогинный голос вещал:

– ...одержавший победу в гонке честно и по закону, награждается высшим даром Большого Че – золотой лопатой и получает право обрабатывать земли Большого Че, не получая никакой платы, каждый день, в течение года. Отказ от награды влечёт за собой...

Человек беспомощно шурился и повторял тихо:

– Как же так... А моя земля? Мои исследования? Когда я теперь успею...

– А никогда, – сочувственно цокнул языком дядька Татай и хлопнул несчастливца по плечу. – Но ты не бойсь, народ пособит. Мы всегда победителям помогаем. Как-нибудь год протянешь. И не гляди на меня честными глазищами. Таки тем, кто не участвует или плохо в гонке старается, наказание ещё хуже.

Белесоватая кожа человечка стала ещё бледнее.

– Получается, выбора нет?

– Почему же нет? – удивился Татай. – Первым приходит – невелика наука. Учись приходить вторым. Какие твои годы-то... – и захромал обратно к тарактелке, на ходу закрывая кожей третий глаз.

А Галипан остался переминаться с копыта на копыто. Почему-то ему было страшно жалко этого человечка, такого соразмерного, но абсолютно беспомощного. Ни жвал, ни манипуляторов, ни даже ног сильных...

Наконец он решился – и запустил руку в заветное ведро.

– На, – сунул Галипан ошалевшему человечку целую горсть мелких, ровных, перламутрово блестящих зимбаней. – Сунь в рот, мигом вrastут. Мозг-то штука сложная, его не сразу отразишь. Начни пока что с зубов.

И, осчастливленный собственной щедростью, он длинными прыжками помчался нагонять дядьку Татая.

Отборные зимбани погромыхивали в ведре.

«Мамка будет довольна», – подумал Галипан и улыбнулся.

5

Злость: Гекатонхейры



Сторукие и стоглавые великаны, олицетворение яростных природы, разрушения, слепой стихии, жестокости и мирового зла.

Идеальный мир профессора Рихтера

После двух часов ночи мы зашли перекусить в припортовый бар.

Внутри было чистенько, но пахло морской солью и чуть-чуть бензином. Я бегло окинул взглядом полупустое помещение. За круглым столом у окна сидела ухоженная старая проститутка, вдоль барной стойки растянулись алкоголики – cedят дешевое пойло, которого здесь навалом в любое время суток – невзрачные, опущенные, выпавшие из жизни. Чуть поодаль, под деревянной лестницей на второй этаж что-то шумно отмечали морячки. Было их пятеро. Двое пили пиво, трое – вишневый сок. Шутки, тосты, веселое настроение. Мило. Стерильные такие морячки, из прошлой жизни.

Я прихватил под локоток пробегающего официанта и для дела поинтересовался, что это за морячки, с какого порта? Выслушав ответы, попросил Джимми занять столик, а сам вышел на улицу, позвонить. Когда вернулся, Джимми заказывал яичницу с сосисками и капустой.

Молодец этот Джимми, хоть и мальчишка совсем. Шестнадцать лет. Сегодня мне его дали в напарники, натаскать, так сказать, обучить и закрепить материал. Через два дня у него конец стажировки, потом оформление по трудовой, как положено, оклад и премии за выполнение плана.

Джимми старался, из шкуры лез, чтобы угодить. Я ему говорю: передо мной не надо выпендриваться. Он вроде бы понял, но активности не унял.

– Два литра пива, – сказал я официанту, тяжело присаживаясь на скрипучую скамейку. – Нормального, темного.

Подумать только, сорок лет назад никакого пива в мире не было. Натуральные ягодные соки – вот чем пичкали людей в ресторанах. Безалкогольный сидр – идеал напитка. Мой отец хранил его в бочках в подвале, будто это был не яблочный сок, а золотые слитки. Как можно было такое пить?.. А ведь пил, пил как все, и не знал, что другие радости в жизни есть. Не перестаю удивляться.

Сегодня я начал выпивать с девяти вечера, едва солнце закатилось за небоскребы. Мне исполнилось пятьдесят. Хорошая круглая дата. Я решил, что для начала крепко напьюсь. Нечасто себе позволяю напиваться. А потом что? Закажу, например, жареного мяса, спиртного, кокаина, выкуплю пассажирский дирижабль на два-три часа, с проститутками – но не старыми этими, а нормальными, из черных районов – и там, в небе над городом, буду трахаться, нюхать, пить, жрать и блевать с высоты на стерильные головы жителей мегаполиса. Полный калейдоскоп радостей жизни. Праздник на дворе, пиво в желудке, свобода в мозгах.

Джимми тоже пил, но немного. Боялся, не привык. Еще бы. Сложно вот так сразу с вишневого сока на пиво.

– Ты сколько дней в идеальном мире? – спросил я, пока ждали заказ.

– Восемь. Это если не считать ночи, когда ко мне пришли...

– Через два дня полновесная жизнь. Это можно отметить.

Он посмотрел на меня смущенно, будто оценивал – продолжается ли стажировка, или я серьезно.

– Не трави душу. Мне полтинник. Надо выпить за мое здоровье. В отчет не пойдет, пацан.

– Тогда можно, сэр.

– Темного двойного, – взревел я на весь бар. – Дополнительно!

Потом принесли сосиски под яичницей и кислую капусту, как, говорят, в лучших заведениях Германии. Не знаю, не бывал. В наших штатах тоже неплохо кормят.

Пиво оказалось горьковатым, но густым, с пеной. Я в три глотка осушил первый бокал и сделался добрым, добрее некуда.

Это был шестой бокал, если быть точным. Вечеринка начиналась.

– Послушай, – проворчал я. Джимми вопросительно приподнял бровь. Он как раз раздельвался с сосиской. – Послушай, пацан. И как это тебя угораздило?

– Что именно, сэр?

– Шестнадцать лет... я не понимаю. Зачем ты, это самое, согласился? Мы малолеток не трогаем. До совершеннолетия всё добровольно.

– А к вам во сколько пришли, сэр?

– Допустим, я не показатель. Сорок лет прошло. В те годы, когда профессор Рихтер только начинал, инвакцинаторы переводили в идеальный мир всех подряд. Это потом появились регулировки, правила, уставы... Что-то стряслось в жизни?

– Нет, сэр.

– Ты бродяга? – допытывался я. Подошла очередь второго бокала. Теперь надо пить медленней, а то совсем развезет, спать захочу, трахаться, а у нас еще вторая половина ночи.

– Нет, сэр, не бродяга, – ответил Джимми, налегая на капусту. По его подбородку стекала темно-оранжевая жидкость.

– Сирота? Что-то случилось с родителями?

– Они вместе со мной, сэр. Все в идеальном мире. Семьей.

– Добровольцы? Хорошая семья, редкая. – я подтянулся, размял пальцы. – Джимми, дружище. Я, как твой сегодняшний наставник, обязан провести, так сказать, опрос. На предмет знаний. Ты же знаком с правилами?

– Знаком, сэр, – ответил Джимми. – Задавайте вопросы, сэр. Конечно.

На самом деле, это была необязательная процедура. Пацан и без меня должен знать что куда. Но, черт возьми, меня тянуло на разговор. На нормальный пьяный базар, если хотите.

– Послушай, – сказал я, поглядывая на часы. До старта второй смены осталось чуть меньше получаса. – Тебя же вводили в курс дела, да? Рассказали о том, что происходит? Не слухи, а правду.

Джимми неопределенно пожал плечами.

– Штатный психолог, – сказал он, – кое-что рассказал, сэр.

– Что именно?

– Немного. Как положено по вводным метрикам. Краткую предысторию движения профессора Рихтера за свободу. Открытие, развитие, первые шаги.

– Про добро?

– Все верно, сэр. О том, что у каждого человека в мозгу есть некая жидкость, которую называют «добро». Она отвечает за концентрацию в человеке... добра?

Тавтология меня позабавила.

– Вот именно! – перебил я, не в силах сдерживаться. Пиво благотворно влияло и на болтливость и настроение. – Профессор Рихтер сделал гениальнейшее открытие. Какое?

– Эммм. Дайте подумать, сэр. Он первым обнаружил и извлек из человеческого мозга фермент, влияющий на поведенческие инстинкты человека. Рихтер назвал процессы, происходящие в мозгу «эффектом добра». Вырабатывая фермент-«добро», мозг заставлял человека подчиняться условным порядкам. Так называемый: принцип морали. Существует градация морали, которую не может нарушить ни один человек. Она условно обозначается как «Девять заповедей» и основана на некоторых религиозных учениях... чтобы оправдать, как говорится. На самом деле, человек не мог нарушить эти заповеди, потому что у него в сознании стоял блокиратор. В других источниках: инстинкт отсутствия выбора.

– Стерильная жизнь, – добавил я. – Молодчина Джимми, все знаешь! Головастый! Ты помнишь её?.. Хотя, ты родился уже после того, как профессор начал тайную инвакцинацию по переводу людей в идеальный мир... А вот я помню. Эй, притащи еще пива. Полбокала!.. До открытия профессора Рихтера люди жили, подчиняясь инстинкту отсутствия выбора. «Добро» управляло ими, как марионетками. Представь, пацан, что люди не испытывали чувства зло-

сти, зависти, грубости, вины. То есть никто физически не мог убить другого человека преднамеренно! Или выпить такого прекрасного вишневого пива, потому что инстинкты! Не было выбора, понимаешь? Стерильные люди. Кошмар... – я перевел дух, потому что бы не мастак долго и внятно разговаривать. Пиво бурлило в животе и в голове. Мысли делались путанными и агрессивными. – Что такое идеальный мир, знаешь? Думаю, что знаешь. Верно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.